

Жизнь. Новеллы

Автор:

Ги де Мопассан

Жизнь. Новеллы

Ги де Мопассан

Величайшие шедевры мировой классики (Клуб СД)

«Жизнь» – подлинный шедевр Мопассана, роман, завораживающий читателя глубиной проникновения в женскую душу и яркостью реалистичного, бесстрастного, а порой беспощадного авторского взгляда на извечное «бремя страстей человеческих». «Жизнь» – это история утраченных иллюзий, несбывшихся надежд и преданных чувств. Не трагедия, но – тихая, незаметная драма человеческой жизни...

Ги де Мопассан

Жизнь. Новеллы

© Веселова И. С., составление серии, составление тома, 2013

© Hemiro Ltd, издание на русском языке, 2013

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2013

Жизнь Мопассана

Немногие из писателей между тем старались так скрыть свою жизнь от любопытных взглядов публики, как Мопассан. Между литературой и своею жизнью он установил резкую границу и требовал, чтобы она свято уважалась. «Писатель ничего не должен публике, кроме своих произведений», – говорил он. Когда по смерти Флобера были опубликованы письма последнего, Мопассан горячо сожалел о том, что не в его власти помешать этому.

Благодаря аристократической замкнутости Мопассана при жизни его в печать проникали лишь весьма скудные сведения об авторе рассказов и романов, пользовавшихся таким шумным успехом.

Но его осторожность не помешала тому, чтобы после его смерти не началась лихорадочная погоня за документами и воспоминаниями, по которым можно было восстановить его жизнь. Писатель, которому суждено было умереть безумным, слыл всю жизнь «здоровяком», «атлетом». Вокруг его преждевременной и трагической кончины сложились легенды, благодаря развязности журналистов и любопытству жадной до всяких разоблачений публики.

Благоговейные заботы матери (госпожа Мопассан одиннадцатью годами пережила своего несчастного сына) и протесты друзей охраняли, насколько возможно, память писателя от посягательств бесцеремонных исследователей.

Но с момента смерти Лауры Мопассан (8 декабря 1904 г.) погоня за документами сделалась более плодотворною. Беспощадные разоблачения осветили мало-помалу загадочную и трагическую кончину великого романиста. Значительное количество материалов из этого грустного наследия в обработке Э. Мэниаля[1 - Maynial E. La vie et l'oeuvre de Guy de Maupassant. Paris, 1906. – Рус. пер.: Мэниаль Э. Мопассан: Его жизнь и творчество / Пер. с фр. Н. П. Кашина. – М., 1910.] дают возможность и нам бросить полный глубокого уважения и любви к писателю взгляд на те внешние обстоятельства, среди которых создавались его шедевры.

Интересно подтвердить фактами, что материал, над которым работал великий писатель, не вымышлен и довольно точно отражает его жизнь. Заглянуть в жизнь Мопассана необходимо еще и потому, что эта жизнь прекрасна своею краткою, тревожною и мучительною красотой.

I

Жизнь Мопассана распадается на период детства и юности (1850–1870), за которым следуют десять лет ученичества (1870–1880); от 1880-го до 1890-го г. – период напряженного творчества и связанного с ним беспримерного успеха. В минуту его наибольшей силы и славы все обрывается резким и трагическим финалом; духовная смерть двумя годами опережает его физическую кончину.

Отец Ги – Гюстав де Мопассан, представитель старой лотарингской фамилии, в 1846 г. вступил в брак с Лаурой Ле Пуатвен, принадлежавшей к высшей буржуазии Нормандии. От этого брака родились Ги и младший брат его Эрве де Мопассан.

Мать Ги де Мопассана Лаура и ее брат Альфред Ле Пуатвен были друзьями детства Гюстава Флобера и сестры его Каролины. Отец Флобера занимал в то время место главного врача в Руанской больнице. Мать его была подругой детства матери Лауры. Отсюда ясно, что никаких родственных уз между Ги де Мопассаном и Флобером не было: последний лишь перенес позже на своего ученика всю нежность, которую питал к друзьям своего детства – Лауре и Альфреду Ле Пуатвен, матери и дяде Ги.

Одаренный блестящими способностями, восторженный и эксцентричный, Альфред Ле Пуатвен оказывал огромное влияние на умственное развитие сестры и друзей. С ранних лет он приохотил Лауру к литературе: пробудил в ней любовь к классикам, выучил ее английскому языку, с тем чтобы читать в подлиннике Шекспира. Десятилетний Флобер сочинял в то время трагедии, а Альфред и Лаура всячески содействовали их постановке: были попеременно и актерами, и зрителями, и критиками. В этом детском кружке постоянно поднимались страстные споры о прочитанном, и все участники его взаимно поддерживали друг в друге тот поэтический подъем, то неутомимое и лихорадочное искание красоты, которое преждевременно сожгло Ле Пуатвена и истощило Флобера.

Расставшись детьми, Флобер и Альфред Ле Пуатвен поддерживали оживленную переписку. Двадцатилетним юношей Флобер пишет Альфреду: «Мы будем соседями эту зиму, старина, можем видаться ежедневно. Будем беседовать у камина, пока на дворе будет лить дождь или снег покрывать белою пеленою крыши. Нет, я не нахожу себя достойным сожаления, когда вспоминаю, что обладаю твоей дружбой, что у нас много свободных часов, которые мы можем проводить вместе. Если бы тебя у меня отняли, что осталось бы мне? Чем была бы наполнена моя внутренняя, то есть настоящая жизнь?»

Альфред скончался юношей от болезни сердца. Его поэтические опыты, на которые намекает в своих письмах Флобер, дают основание предполагать, что из него вышел бы талантливый поэт.

К Лауре Ле Пуатвен, ставшей позже госпожой Мопассан, Флобер в течение всей жизни питал глубокую привязанность, к которой примешивались память и скорбь о лучшем и так рано угасшем друге. Жизнь разлучила их. Но радостные дни детства остались навсегда в памяти Флобера. В 1863 г. он пишет госпоже де Мопассан: «Твое письмо словно пахнуло на меня деревенским воздухом, ароматом юности, в которой наш бедный Альфред занимал так много места! Воспоминание о нем не покидает меня. Не проходит дня и, смею сказать, часа, в который я не думал бы о нем. Сколько раз в Париже, утомленный работой, в театре, во время антракта или один, сидя в Круассе у камина, в долгие зимние вечера, я вспоминаю его, вижу его перед собою, слышу его голос. С наслаждением и в то же время с грустью перебираю наши беседы, в которых шутки чередовались с философией, вспоминаю наши чтения, наши мечты, наши надежды! Если я чего-либо добился, то, верно, обязан этим нашему прошлому. К нему я отношусь с большим уважением; мы были прекрасны, и я не хотел пасть.

Я издали следил за твоею жизнью, разделял душою твои страдания, которые угадывал. Наконец, я тебя понял. Это – старое выражение, относящееся к годам нашего детства, к доброй старой романтической школе. Оно вполне выражает мою мысль, и я его удерживаю».

Лаура Ле Пуатвен также оставалась верна прошлому; мечты и восторги детства, влияние брата – все это отразилось позже на воспитании, которое она дала своему сыну Ги. Ей удалось приохотить его даже к чтению Шекспира, вдохнуть в него страсть к стихам и, особенно, к театру, и она же руководила его первыми литературными опытами.

Лаура и Гюстав де Мопассан недолго были счастливы в браке. Молодая женщина была серьезна, правдива, умна, интересовалась искусством и литературой; муж под очаровательную внешность скрывал умственное убожество и слабость характера, увлекавшую его в бесконечные приключения. Рождение двух сыновей несколько утешило госпожу Мопассан в ее горькой супружеской жизни. Ги родился 5 августа 1850 г., Эрве шестью годами позже. Семейная жизнь отца и матери дурно отражалась на воспитании детей, и мать решила положить этому конец. Супруги расстались полюбовно. Госпожа Мопассан вступила вновь во владение своим состоянием, оставила у себя сыновей, на которых муж выдавал ей ежегодно 1600 франков, и поселилась в своем имении в Этрета, в Нормандии. Отец изредка летом приезжал навестить детей.

Вилла «Верги», на которой жила мать со своими двумя мальчиками, была окружена бесконечными фруктовыми садами и стояла недалеко от моря, по пути в Фекан. Эту виллу Ги называл всегда впоследствии своим «дорогим домом». Здесь он свел самую тесную дружбу с окрестными рыбаками, отсюда он любовался быстрым ходом легких барок, здесь впервые и на всю жизнь полюбил море.

Огромный сад, разбитый по плану самой госпожи де Мопассан, наполненный липами, сикоморами, диким терном, розовым и белым шиповником, окружал виллу. Белый домик с балконом, увитым виноградом и жимолостью и утопавшим в кустах жасмина, просторные комнаты, уставленные старинною мебелью и чудесным руанским фаянсом, – таково было уютное жилище, где Мопассан прожил до тринадцати лет. У мальчика не было лучшей воспитательницы и лучшего друга, чем мать. Глубокий ум госпожи Мопассан и литературное образование, полученное ею в детстве, давали ей возможность направлять наблюдательность мальчика, влюбленного в жизнь и в мечты. С удовольствием вспоминает госпожа Мопассан, как в ее сыне постепенно зарождалась любовь к литературе и как искренне радовалась она сама, открывая в нем те же волнения и восторги, которые переживала некогда в обществе своих друзей детства. Госпожа Мопассан всячески помогала Ги советами, поддерживала и направляла его литературные стремления. Прежде всего она задалась целью выучить сына смотреть. Она постоянно обращала его внимание на скромную или живописную природу, заставляла понимать и любить ее, указывала на изменчивые виды неба и моря, на чаек над морскими волнами, на игру солнечных пятен по скалам и на деревьях и на многие мелочи, характерные для богатого нормандского края. Ей приходилось разделять игры, прогулки, а иногда и самые безрассудные похождения маленького Ги. Не раз теряли они с матерью дорогу, не раз бывали застигнуты приливом, карабкались на скалы и возвращались домой оба в

изорванных платьях и башмаках.

Читал Ги запоем. Среди писателей, взволновавших его юное воображение, был и Шекспир. Мать заставила его прочесть «Макбета», «Сон в летнюю ночь». В своих воспоминаниях госпожа Мопассан рассказывает, какое глубокое впечатление произвели на мальчика эти первые книги. Он понял, что словами можно вызывать образы людей и предметов. Родному языку учила его также и мать. Аббат Обур, викарий Этрета, занимался с ним грамматикой, арифметикой и латынью, которою ребенок очень заинтересовался. Из новых языков Ги не знал ни одного, а взамен этого бегло говорил на нормандском наречии: к нему он привык во время своих скитаний с рыбаками. Ги в это время часто уплывает в море с рыбаками Ипора, посещает скалы и пещеры, ловит рыбу при лунном свете, помогая вытаскивать расставленные накануне сети, проводит целые дни в лодке, пробираясь сквозь лес тростников или сидя в ней между двумя собаками и обдумывая план предстоящей охоты или рыбной ловли; впоследствии он вспоминает и свои бесконечные прогулки верхом по равнинам, по которым хлещет морской ветер. Эта жизнь укрепила его здоровье и развила в нем значительную физическую силу. Лица, знавшие Ги между десятью и двадцатью годами его жизни, рисуют его коренастым, с могучей шеей, как у молодого бычка, с неукротимой энергией «любителя жизни», как он сам называет себя в этом возрасте. Живя в тесной близости с рыбаками и крестьянами, Ги разделял их жизнь и сопряженные с нею опасности и их наивные развлечения. Эту действительность отразили впоследствии многие из его рассказов, равно как и роман «Жизнь». Рыбаки обожали маленького Ги, часто брали его с собою в море в любую погоду. Госпожа Мопассан вспоминает то беспокойство и тот страх, в которые не раз повергали ее долгие отлучки сына. Позже, описывая эту жизнь, полную приключений, страсть к которым не покидала никогда Мопассана, он говорит: «Чувствую, что в жилах моих течет кровь морского разбойника. Для меня нет большей радости, как весенним утром плыть в лодке к неведомым берегам, бродить целые дни по новым местам, толкаться среди людей, которых я никогда потом не увижу, которых покину с наступлением вечера, чтобы снова пуститься в море; проводить ночи под открытым небом, править рулем по воле моей фантазии, не сожалея о жилищах, где рождаются, делятся, замыкаются в рамки и угасают человеческие жизни, не испытывая желаний бросить якорь где бы то ни было, как бы ласковы ни были небеса, как бы прекрасны ни казались там берега».

Когда мальчику исполнилось тринадцать лет, его оторвали от бродячей и праздной жизни и отправили в духовную семинарию в город Ивето. Не будучи подготовлен к тому лишению свободы и к той дисциплине, которые встретили

его в семинарии, Ги почувствовал себя очень несчастным. Однако это заведение, откуда он не раз пытался бежать и из которого его в конце концов исключили, не оказало сильного влияния на развитие его ума и характера. Все тяготило его здесь. Особенно отталкивал его независимую природу интернат. Ги тосковал по морю, по друзьям-рыбакам. Власть попов и нравы духовенства возмущали прямую, открытую душу. В виде утешения среди этой монастырской обстановки он начал писать стихи. Многие стихотворения не были лишены изящества. Но одно из них, заключавшее протест против «сутан», «стихарей» и «монастырского уединения», было перехвачено семинарским начальством. Этим предлогом воспользовался заведующий семинарией, чтобы избавиться от беспокойного воспитанника и отослать его домой. Мальчик был в восторге; не особенно была огорчена и мать.

На следующий год Ги поместили пансионером в руанский лицей.

Там он с еще большим успехом продолжал свои литературные опыты, пользуясь на этот раз руководством и советами настоящего поэта, Луи Буилье, принадлежавшего некогда к тому детскому кружку, участниками которого были Флобер, мать и дядя Ги. Стихотворения Мопассана этого периода не отличаются оригинальностью. Одно из них было напечатано в «Ревю де ревю». Ги в то время было восемнадцать лет. В лицее он работал усердно и окончил его со степенью бакалавра.

Эти годы детства и ранней юности были необычайно плодотворны для Мопассана. Уже сознавая себя в душе поэтом, он бессознательно впитывал впечатления, темы и типы своих будущих повестей и романов. В Руане, в Ивето, в Этрета, на морских утесах и среди фруктовых садов, на ярмарках и на порогах кабаков, в старых домах священников – повсюду встречал он будущие типы своего первого романа и многих из своих новелл. Рыбаки, крестьяне, служанки на фермах, священники, мелкопоместные дворяне, кабатчики, отец Бонифаций, тетушка Маглуар, дядя Бельом и даже «свинья Морен» изображены в них с такою откровенностью, что, по слухам, все эти люди были огорчены тем, что писатель нисколько не польстил им и что их тотчас же можно было узнать.

Вскоре, однако, внимание молодого писателя было отвлечено новыми событиями. Разразилась Франко-прусская война. Руан был занят неприятелем. Мопассан поступил на военную службу и принял участие в кампании. Воспоминания его об этом времени послужили впоследствии сюжетом для его рассказа «Пышка», для неоконченного романа «Анжелюс» и многих небольших

рассказов.

По окончании войны Мопассан переехал в Париж. Здесь началась для него новая жизнь. Детские годы отошли в прошлое, уступив место иным стремлениям, иным заботам.

II

В Париже Мопассану пришлось проводить ежедневно определенное количество часов в темной и тесной канцелярии морского министерства, и, привязанный службою к городу, он затосковал; его легкие, глаза, кожа с детства привыкли к чистому воздуху полей, а ноги – к лесным тропинкам и берегам рек. Поэтому Мопассан этого периода не столько литератор, не столько посетитель литературных салонов и редакций, сколько любитель спорта и гребца, не имеющий соперников на Сене между Шату и Мезон-Лаффит. Веселый, энергичный и сердечный, обожавший загородные прогулки, пирушки, речной спорт, смех и веселье – вот каким знавали Мопассана друзья между 1870 и 1880 гг. В его наружности, говорит один из них, не было ничего романтического. Круглое загорелое лицо гребца, простые манеры. «Цвет лица напоминал прибрежного жителя, загоревшего от морского ветра, голос хранил тягучесть деревенской речи. Каждое утро он вставал с зарею, вымывал свой ялик и делал в нем несколько концов по Сене; в поезд он вскакивал, чтобы ехать в город, как можно позже, проклиная свою служебную ляжку. Он много пил, ел за четверых, спал не просыпаясь». Золя, познакомившийся с Мопассаном в это время, изображает его красивым малым, небольшого роста, сильным и коренастым, с густыми волосами, вьющимися усами, широким лбом, пристальным, зорким и в то же время мечтательным взглядом. «С наружностью молодого бретонского бычка», – прибавляет Флобер.

Мопассан очень заботился о своем здоровье и гордился своею физической силой: он мог пройти пешком восемьдесят верст кряду и однажды в своем ялике спустился по Сене от Парижа до Руана, везя в нем еще двух друзей. Зато малейшее нездоровье внушало ему опасения, он пугался воображаемых болезней и двадцати восьми лет уже начал высказывать Флоберу жалобы на свое здоровье.

Поступив на службу в морское министерство (с окладом в 1500 франков), Мопассан впоследствии переменял эту должность на более выгодное занятие в министерстве народного просвещения, оставлявшее ему больше свободного времени. Ревностным чиновником он никогда не был. Он делил свое время поровну между катаньем на лодке и литературными опытами, которым предавался в служебные часы, изводя на них казенную бумагу и предоставляя их по воскресеньям на суд своего учителя – Флобера.

Служба в министерстве, правительственные тайны, в которые ему удавалось проникнуть, общение с коллегами и с начальством – все это для Мопассана было источником наслаждения, благодаря бесконечным проделкам, которым это давало материал. Он удовлетворял здесь свою страсть к мистификации и к шаржу, которая не покидала его в течение всей его юности. В новой для него среде он снова увлекался наблюдениями, которые некогда делал над рыбаками и крестьянами Этрета. «Наследство», «Ожерелье» – чудесные вещи, описывающие скромное, однообразное и богатое смешными эпизодами существование мелких чиновников, полные жизненной правды.

Но всего дороже Мопассану в эту эпоху (то есть между 1872 и 1880 гг.) была Сена. Катания на лодке, встреча солнца в утреннем тумане, лунные вечера – эта простая поэзия влекла к себе Мопассана, оставив впоследствии глубокий след в его произведениях. Рисует ли он рыбную ловлю на острове Маранте в осенний вечер, когда «окровавленное небо бросает в воду контуры пурпуровых облаков и заливает кровью всю реку» («Два приятеля»); вспоминает ли он свои скитания по окрестностям Парижа, весенние прогулки по зеленеющим лесам, опьянение голубым небом и водою в прибрежных кабачках Сены и любовные приключения, столь банальные и в то же время столь восхитительные («Воспоминание»); дает ли картину воскресного дня за городом («Иветта», «Подруга Поля») – канвою для всех этих узоров служат 70-е гг. XIX в., проведенные им в Париже. Особенно священными днями были для Мопассана суббота и воскресенье – они отдавались катанию на лодке, и даже Флобер в эти дни не решался посещать ученика или звать его к себе.

В рыбацкой шляпе, в полосатом трико, плотно облегавшем его тело, с голыми до плеч толстыми руками, Мопассан встречал своих друзей на станции и приветствовал их веселыми, часто весьма нескромными шутками, которые выкрикивал особенно громко, если замечал вблизи какого-нибудь толстого, почтенного господина, украшенного орденом, или чопорную семью, ехавшую на пикник. Друзья спускались к реке. Сидя на веслах или управляя парусом,

Мопассан не переставал рассказывать истории и анекдоты, с бесконечными вариантами, причем так смеялся сам, что едва не опрокидывал лодку.

Рассказывают о невообразимом веселье тех обедов, которыми заканчивался день за городом. «Никто, – говорит один из друзей, – не умел так устроить обед, подобрать общество, убрать стол, руководить кухней и вести в то же время самый интересный и остроумный разговор, как это делал Мопассан».

Прелестный рассказ «Мушка» рисует одну из самых ярких картин, относящихся к этим годам. Мопассан сам рекомендует читателю шайку пяти «шалопаяев», превратившихся впоследствии в солидных людей, и рисует «невозможную харчевню в Аржантейе», комнату – «общий дортуар», которым владели друзья и в которой Мопассан, по его признанию, провел самые безумные и самые веселые вечера своей жизни.

Сложившись впятером, друзья с большим трудом купили себе лодку: они хохотали в ней так, как никогда уже не смеялись впоследствии, – говорит Мопассан. У каждого из пяти «шалопаяев» было особое прозвище: Шляпа – остроумный, ленивый и единственный из друзей, никогда не трогавший весел под предлогом, что может тотчас же опрокинуть лодку; Ток – Робер Пеншон, впоследствии руанский городской библиотекарь; Одноглазый – А. де Жуанвиль, тонкий, изящный, вооруженный моноклом, которому и был обязан своим прозвищем; хитрый Синячок – Леон Фонтэн; Томагавк и, наконец, Жозеф Прюнье – не кто иной, как сам Мопассан (под этим псевдонимом была напечатана его первая повесть). Ялик, который они окрестили «Листок наизнанку», совершал по воскресеньям регулярные рейсы между Аньером и Мезон-Лаффитом. Вечером друзья сходили на берег, останавливались в речном трактире; пища была неважная, постели – отвратительные, но веселья было много, а с этою приправою никакой обед не казался скучным.

Иногда Мопассан уединялся в отдаленный трактирчик Бизона или Сартрувиля и писал стихи. Некоторые из этих стихотворений вошли в издание 1880 г. Поэзия влекла его к себе по-прежнему. В это время он занят созданием того гибкого и легкого, ясного и точного языка, в который ему удалось впоследствии облечь свою наблюдательность и свое знание жизни. Кое-кто из друзей угадывал, к чему готовился Мопассан. Но когда его спрашивали об этом или торопили, то он отвечал: «Спешить некуда; я готовлюсь к своему ремеслу». И Мопассан изучал его действительно терпеливо, мужественно, а Флобер в течение семи лет (1873–1880) помогал ему советами и направлял его литературные опыты.

Вопреки довольно распространенному мнению Мопассан не был связан с Флобером никакими родственными узами. Флобер интересовался молодым человеком исключительно как сыном и племянником лучших друзей детства. По приезде Мопассана в Париж Флобер заинтересовался «остроумным, литературно образованным и очаровательным» юношей, к которому почувствовал приязнь. Несмотря на разницу лет, он всегда с этих пор относился к Мопассану как к другу. Флобер пообещал матери Ги следить за первыми шагами молодого человека и облегчить ему доступ в салоны и в редакции журналов. К своей роли наставника Флобер отнесся весьма серьезно, руководя даже чтением ученика. Особенно энергично побуждал он юношу к работе. Когда Мопассан жаловался позже на скуку и однообразие жизни, Флобер отечески журил его: «В конце концов мне представляется, что вы очень скучаете, друг мой, и это меня огорчает, ибо вы могли бы проводить время приятнее. Надо, слышите ли, молодой человек, работать, и работать гораздо больше, чем вы работаете. В конце концов, я начинаю подозревать вас в небольшой лени. Чересчур много прогулок по воде! Чересчур много физических упражнений! Да, сударь! Цивилизованный человек не нуждается в таком количестве движения, как говорят об этом доктора. Вы рождены писать стихи, так пишите же их! Все остальное – суета, начиная с ваших увеселений и вашего здоровья... Здоровье ваше к тому же хорошо сделает, если последует за вашим призванием. Это замечание имеет глубокую философскую и гигиеническую ценность. С пяти часов вечера до десяти часов утра вы можете все ваше время посвящать Музе... Ну же, милый, прибодритесь! К чему зарываться в свою печаль? Надо быть сильным в собственных глазах – это лучшее средство стать сильным. Побольше гордости, черт возьми!.. Если вам чего недостает, так это принципов. Пусть говорят что угодно, но они необходимы; надо только выяснить, какие нужны вам. Для художника существует только один принцип: приносить все в жертву искусству. На жизнь он должен смотреть как на средство, не более...»

Вскоре между учеником и учителем установился род сотрудничества. Время от времени Флобер требует от друга небольших услуг: возлагает на него поручения к дирекции театра «Водевиль», к издателю Лемерру, позже к министру народного просвещения. Поручает ему топографические изыскания, библиографические анкеты для романа «Бувар и Пекюше», над которым в то время сам работает. В совместном труде с учителем Мопассан познает настоящую цену непосредственного наблюдения и точного воспроизведения действительности. Мало-помалу он вырабатывает в себе «индивидуальную манеру видеть и чувствовать». Вскоре он перестает жаловаться на однообразие и пустоту жизни, на ничтожество человеческих страстей. Побуждая Мопассана к работе, Флобер в то же время всячески удерживает его от поспешного

печатания своих произведений, что, по мнению Флобера, часто губит юных авторов. На вопрос матери Мопассана: «Не может ли теперь Ги бросить службу в министерстве и посвятить себя всецело литературе?» – Флобер отвечает: «Нет еще! Не будем делать из него неудачника!»

Флобер заставлял юношу вглядываться в окружающее и выбирать из него то, что могло ему пригодиться для его литературных опытов. Часто он добродушно говорил ему: «Иди погуляй, мой мальчик, понаблюдай окружающее, а потом в ста строках расскажи мне все, что увидишь». Мопассан охотно исполнял эти советы. Он работал с натуры с усердием, переходившим в неосторожность.

Флобер просматривал его заметки. Безжалостно вычеркивал он лишние эпитеты, исправлял периоды, «сердился, когда в двух фразах, стоявших рядом, были одинаковое расположение слов и одинаковый ритм». Мопассан не унывал, уносил терпеливо заметки домой и старательно исправлял их к следующему воскресенью.

У обоих писателей, кроме сходного темперамента, была еще одна и та же склонность смотреть на жизнь так, как будто она специально создана для искусства. Наблюдая природу и человека, художник должен искать новых комбинаций для этих элементов. Точная деталь должна занять в романе главное место, и впечатление будет тем сильнее, чем больше эта деталь будет пережита в своей незначительности и даже банальности. Таково было одно из главных правил, преподанных Мопассану Флобером.

В этот период Мопассан познакомился со многими писателями и артистами, которых по большей части встречал у своего наставника в Круассе по воскресеньям или в скромном салоне Флобера в Париже. В числе этих лиц, из которых многие сделались вскоре искренними друзьями Мопассана, были: И. С. Тургенев, А. Додэ, Э. Золя, Поль Алексис, Катулл Мендес, Э. Бержера, Ж. М. де Эредиа, Гюисманс, Генник, Сеар, Л. Кладель, Г. Тудуз, Э. де Гонкур, издатель Шарпантье, Ф. Бюрти, Ж. Пуше, Ф. Бодри. На четвергах у Золя Мопассан встречал еще Э. Рода, Дюранти, П. Сезанна, Т. Дюрэ, Франсуа Коппе, Мориса Бушора и изредка И. Тэна, Ренана, Максима Дю Кам, Мориса Сандо. С 1876 г. Мопассан часто посещал Тургенева, с интересом следившего за первыми опытами молодого писателя и читавшего его рукописи. Впоследствии Мопассан написал о Тургеневе этюд и в 1891 г. готовил о нем новую статью, работа над которой была прервана его болезнью.

Гонкуры вспоминают в «Дневнике» об оживленных собраниях у Флобера в Круассе; вечера проходили в рассказах, заставлявших всех хохотать до упаду. Еще менее чопорными были сборища у Золя. Среди посетителей его четвергов в 1876 г. образовалась группа молодых писателей, которую газеты и журналы того времени прозвали «la queue de Zola»[2 - Последователи Золя (фр.)]. Искренняя дружба и общность литературных стремлений объединяла этих писателей. Четыре года спустя они издали сообща известный сборник «Меданские вечера», в котором впервые выступил и Мопассан с рассказом «Пышка». Благодаря новым связям Мопассану был открыт доступ в *Republique des Lettres*, где были напечатаны несколько стихотворений и статья о Флобере. Он посещал также обеды Катулла Мендеса, на которых председательствовал иногда Флобер. Там же Мопассан познакомился с литераторами Анри Ружоном, Леоном Дирксом, с поэтами Стефаном Малларме и Вилье де Лиль-Адан.

Флобер с той необъяснимою снисходительностью, которую он проявлял всегда к своему ученику, провозгласил первые стихотворные опыты Мопассана «превосходящими все, что печаталось до тех пор парнасцами». «Со временем, – прибавлял Флобер, – у молодого человека явится оригинальность, индивидуальная манера видеть и чувствовать». Флобер очень хотел, чтобы Мопассан предпринял «большое произведение», и, следуя его советам, Мопассан написал несколько стихотворных новелл («На берегу», «Стена», «Сельская Венера», «Последняя шалость»), вошедших в сборник 1880 г.

Пробовал в это время Мопассан проложить себе дорогу и в журналистике. Несмотря на свою ненависть к газетам, Флобер обращался к редакторам нескольких изданий с целью ввести туда Мопассана в качестве театрального хроникера или книжного рецензента; несколько раз он сам указывал ученику темы для сенсационных статей, которые могли бы сразу обратить на него внимание публики. С 1878 г. Мопассан состоит в числе сотрудников всех больших периодических изданий, таких как «Голуа», «Жиль Блас», «Фигаро», «Эхо Парижа». Воспоминания Мопассана о его деятельности газетного сотрудника воплощены в его известном романе «Милый друг». Редакторские кабинеты и приемные, литературные салоны, в которых газетный хроникер сталкивается с министром, – вот сфера, в которой протекает вся жизнь Ж. Дюруа.

Стихотворные поэмы Мопассан задумал соединить в один сборник и выпустить отдельным изданием. В выборе их он руководствовался строгим и требовательным вкусом Флобера. Почти накануне появления книги

общественное внимание было занято судебным преследованием, возбужденным против Мопассана в городе Этампе по обвинению его в оскорблении нравственности. Ему инкриминировалась поэма «Стена» и некоторые другие. Этот процесс имел для Мопассана почти такое же значение, как для Флобера имел в свое время процесс по поводу романа «Госпожа Бовари». В эту минуту и появилась книга, в которой под скромным названием «Стихотворения» были собраны лучшие стихотворные поэмы Мопассана. За один месяц (апрель 1880 г.) книга выдержала три издания. Последнее издание, вышедшее уже по смерти Флобера, снабжено в виде предисловия письмом Флобера, которое было написано им Мопассану в ожидании процесса.

Вплоть до последних минут своей жизни Флобер не переставал интересоваться судьбою книги, появлению в свет и успеху которой он в значительной мере содействовал. Посвящение книги ему возбудило в нем целый рой воспоминаний, и над ним Флобер, по собственному признанию, плакал. Сами произведения Мопассана, вошедшие в этот томик, он считал очень личными, восхищался их самобытностью, смелостью и ярким вдохновением.

Чтобы закончить историю первых шагов Мопассана на литературном поприще, остается сказать еще несколько слов о тех обстоятельствах, среди которых была написана первая повесть «Пышка», появившаяся в 1880 г. почти одновременно со сборником стихов. С этой минуты Мопассан перестал колебаться: он ясно увидел, по какой дороге ему следует идти. История возникновения сборника «Меданские вечера» изложена самим Мопассаном в статье, напечатанной в «Голуа» перед появлением на свет книги. «Мы все находились у Золя, – пишет Мопассан, – летом, в его меданском имении. Во время долгих обедов... Золя рассказывал нам планы своих будущих романов, делился своими взглядами на литературу, на жизнь... Иногда время проходило в рыбной ловле. Я лежал, растянувшись в лодке “Нана” или купался целыми часами, в то время как П. Алексис блуждал вокруг с игривыми мыслями, Гюисманс без конца курил, а Сеар скучал, находя деревню глупой. Роскошны были ночи, жаркие, ароматные, и каждый вечер мы отправлялись гулять на большой остров, напротив... В одну такую лунную ночь мы беседовали о Мериме, про которого женщины говорят: “Какой очаровательный рассказчик!” Стали перебирать и превозносить всех знаменитых рассказчиков с голосу, самым изумительным из которых мы признавали великого русского писателя Тургенева, этого мастера почти французского склада; П. Алексис утверждал, что уже написанную вещь рассказать весьма трудно. Скептик Сеар, взглянув на луну, пробормотал: “Какая чудная романтическая декорация, ее следовало бы использовать”. “Рассказывая чувствительные истории”, – добавил Гюисманс. Золя нашел, однако, что это

была счастливая мысль, что каждый из нас должен был рассказать историю. Выдумка рассмешила нас, и мы условились, что рамка, выбранная для рассказа первым рассказчиком, должна быть обязательно сохранена и остальными. Среди тишины уснувших полей, под ослепительным светом луны, Золя поведал нам ужасную страницу из эпохи войны, носящую название “Осада мельницы”. Когда он кончил, каждый из нас воскликнул: “Надо скорее это написать”. Он захохотал: “Это уже сделано”. На другой день была моя очередь. На следующий день Гюисманс увлек нас своим рассказом... Сгар воскресил перед нами осаду Парижа... Генник подтвердил нам еще раз, что люди в толпе превращаются в зверей... П. Алексис заставил нас ждать несколько дней, не находя сюжета... наконец выдумал довольно занимательную историю... Золя нашел, что все рассказы имеют интерес, и предложил составить из них сборник».

Когда Мопассан переслал свою рукопись «Пышка» Флоберу, последний пришел от нее в восторг и тотчас же написал ученику: «Спешу сказать вам, что считаю “Пышку” шедевром. Да, молодой человек! Ни более ни менее вещь написана мастерски. Оригинально задумана, хорошо прочувствована, превосходна по стилю. Пейзаж и лица живут, психология глубока. Короче говоря, я в восторге; два-три раза я смеялся вслух... Эта сказочка долго не умрет, будьте уверены!..»

Успех рассказа имел решающее значение для Мопассана. Он бросил службу и всецело отдался литературе.

В итоге следует отметить, что в 70-е гг. XIX в. Мопассан находился под несомненным влиянием Флобера. Картина этой поддержки, этой общей борьбы за успех, этой глубокой и требовательной привязанности есть, без сомнения, лучшее и драгоценнейшее в литературном поприще Мопассана. Флобер умер 8 мая 1880 г., но при жизни он мог уже видеть молодого друга в расцвете таланта и мог приветствовать его первые шаги в качестве поэта и романиста.

III

Восьмидесятые годы (1880–1891) в жизни Мопассана представляются наполненными непрерывным творчеством. За эти десять лет им написано в общем около двадцати пяти томов: шесть романов, шестнадцать сборников повестей, три книги путевых впечатлений и бесконечное количество газетных

статей, не вошедших в полное собрание его сочинений. С этим периодом у Мопассана связано мало воспоминаний. Жизнь его, наполненная любимым трудом, становится молчаливой с той минуты, когда слава и успех привлекают к нему особенное любопытство публики. Он все более и более уходит в себя и на расспросы любопытных отвечает: «Моя жизнь не имеет истории».

Были попытки объяснить лихорадочность его творчества не одною его страстью к искусству, а и чисто деловым расчетом. На это можно сказать, что Мопассан свято хранил завет учителя. «Художник, – говорил Флобер, – должен создавать свои произведения прежде всего для собственного удовлетворения, затем для избранного меньшинства; ему дела нет до остального, до успеха...» Но в то время как у Флобера культ искусства исключал всякие мысли об оплате труда, Мопассан, как истый и осторожный нормандец, стоял все время на страже своих интересов и ревниво оберегал свои права. Рассказывают, что когда Даллоз за напечатанные в «Moniteur» три рассказа Флобера вручил последнему тысячефранковый банковый билет, то Флобер, показывая его приятелю, с наивным изумлением сказал: «Литература, значит, приносит доход?» Мопассан на самом вершине своей славы не забывал контрактов и счетов издателей, зорко оберегая свои права.

Начиная с 1881 г. он работает систематически: каждый день утром с семи до двенадцати часов. В среднем он пишет по шесть страниц в день, весьма мало перемарывая. Часто во время работы он пользуется набросками, сделанными раньше. Один из его друзей утверждает, что он никогда не ложился спать, не записав всего того, что могло его поразить в течение дня.

Превосходное знание нормандского края вместе с опытом парижской жизни на первых же порах дали Мопассану множество сюжетов и типов, которые ему оставалось только разрабатывать. Так составилась сборник, озаглавленный по имени первого рассказа «Заведение Телье». Учреждение, описанное в этом рассказе, действительно существовало в Руане; религиозная церемония, составляющая характерный эпизод рассказа, происходила в окрестностях Руана. План этой повести, рассказанной Мопассаном Леметру и Тургеневу, заслужил их полное одобрение. Одновременно с этою повестью, над которой Мопассан работал несколько месяцев, им был написан целый ряд мелких рассказов, печатавшихся в журналах и газетах. Рассказ «В семье», появившийся в «Новом обозрении», имел шумный успех. Тургенев по этому поводу писал Мопассану: «Я прочел ваш рассказ в “Новом обозрении” с огромным удовольствием, и наши друзья, живущие на улице Дуэ (которые очень строги), вполне разделяют мое

чувство...»

Для издания рассказов Мопассан завязал переговоры с В. Гаваром, который вплоть до 1887 г. и оставался почти единственным его издателем. Оживленная переписка между Гаваром и Мопассаном, ныне опубликованная, сообщает интересные подробности из истории произведений Мопассана.

Сборник «Заведение Телье» вышел в свет в издании Гавара в 1881 г. Он заключал в себе восемь рассказов, с достаточной точностью отразивших на себе впечатления автора с 1876 по 1880 г. Успех книги был громадный, и в течение двух лет она выдержала двенадцать изданий. Тургенев, которому был посвящен сборник, содействовал переводу его на русский язык и познакомил Россию с его автором. Горячая статья о Мопассане была помещена в газете «Голос».

В следующем году Мопассан выпустил новый том рассказов, в который вошла известная повесть «Мадемуазель Фифи». Тем временем он много работал и над романом «Жизнь», оконченным им в 1883 г. Все действие романа происходит в Нормандии, и в конце концов автор заставляет читателя так свыкнуться с этим краем, что он перестает отделять события от пейзажа, на фоне которого они разыгрываются. Те же виды и типы в виде крестьянских сцен, охотничьих приключений и забавных анекдотов доставили художнику материал и для сборников «Рассказы вальдшнепа», «Лунный свет» и «Сестры Рондоли», вышедших в следующем году.

До выхода отдельным изданием роман «Жизнь» печатался в фельетоне газеты «Жиль Блас». Гавар, выпустивший его в 1883 г., менее чем за год распродал двадцать пять тысяч экземпляров. Из разных стран посыпались просьбы о разрешении перевода этой вещи на иностранные языки. С этой минуты для Мопассана настала эпоха действительной славы и в то же время эпоха необычайной производительности.

Новизна и реализм тем, затронутых Мопассаном, подняли против него в критике целую бурю. А между тем, по справедливому замечанию Леметра, произведения Мопассана, с их трогательной и чистосердечной простотой, всего менее дают пищи для критики. «Что скажешь, – говорит он, – об этом сильном и безупречном повествователе, который рассказывает с такою же легкостью, с какою я дышу, создает шедевры столь же просто, как на его родине яблони рожают яблоки, и самая философия которого кругла и закончена, как яблоко?» Читатель знает, насколько справедливы и заслужены были эти похвалы. Мопассан помнил слова

Флобера: «Мы не должны существовать – существовать должны только наши произведения». Он никогда не прибегал даже к самым невинным средствам, которые могли бы способствовать распространению его книг или прославлению его имени. О своем искусстве он был чересчур высокого мнения, чтобы унизиться до рекламы. Он знал, что литературные произведения живут независимо от того шума, который вокруг них поднимают. Но будучи осторожнее Флобера, менее ушедшим в мечты и менее оторванным от действительности, Мопассан умел зорко блюсти свои интересы. Это подало повод некоторым людям укорять его в алчности. Надо сказать, однако, что широкая натура Мопассана сказывалась и на денежном вопросе: значительную часть получаемого писатель тратил не на себя.

Переписка Мопассана с Гаваром дает, между прочим, возможность убедиться в том, с какою правильностью и быстротою составилось литературное состояние Мопассана – одно из крупнейших литературных состояний конца XIX в.

Все романы и рассказы Мопассана, прежде чем появиться отдельным изданием, печатались в газете или журнале («Голуа», «Жиль Блас»). За них Мопассан получал по одному франку за строчку. Случилось, что один американский журнал напечатал повесть, не принадлежавшую перу Мопассана и ложно подписанную его именем. Это вызвало сильнейший гнев Мопассана: «Мое имя, – пишет он по этому поводу, – достаточно высоко ценится парижскими журналами для того, чтобы я заставил относиться к нему с уважением и в Америке...» К этому письму приложена справка с указанием точного количества изданий его произведений, проданных по 5 декабря 1891 г.: «Рассказы и романы составляют двадцать один том; каждый из этих томов продан в среднем в количестве тринадцать тысяч экземпляров. Это подтверждается отчетами издателей за каждые три месяца...

169 тысяч экземпляров рассказов.

180 тысяч экземпляров романов.

24 тысячи экземпляров путешествий.

Итого 373 тысячи томов».

Любопытно отметить тот факт, что продажа романов опережала всегда продажу рассказов и путешествий. Это соотношение осталось между ними и до сих пор.

Следующие цифры дают некоторое представление о материальном положении Мопассана между 1880 и 1891 гг.

С некоторых сборников он получал по 40 сантимов за экземпляр с первых трех тысяч и по одному франку за экземпляр начиная с четвертой тысячи. 31 октября 1891 г. было продано 9500 экземпляров сборника «Бесполезная красота», вышедшего в 1890 г. Это принесло автору 7700 франков. Счет Мопассана у Гавара в 1891 г. равняется 1269 франкам за вторую четверть и 1078 франкам за третью четверть. В 1885 г. за одну четверть Мопассан получил с издателя 9000 франков, в 1886 г. за третью четверть его счет равнялся 2172 франкам, и Гавар, посылая ему деньги, пишет, что в эту четверть продажа шла хуже обыкновенного. «Дела, – пишет он, – повсюду очень плохи; книжный рынок переживает серьезный кризис». Счет за первую четверть 1888 г. достигает 2000 франков. В июле 1889 г. четвертная выручка падает до 954 франков, но в мае 1890 г. она поднимается снова до 2000 франков.

«...Спешу сообщить Вам сведения об этом негодяе “Милом друге”. В настоящее время мы выпустили тридцать седьмое издание».

Письмо помечено 12 сентября 1885 г., а книга вышла в июне того же года. Два года спустя «Милый друг» уже вышел пятьдесят первым изданием.

Материальный успех «Монт-Ориоль» оказался ниже успеха «Милого друга». Гавар приписал это слухам о войне, волновавшим в то время общество, и надеялся, что книга пойдет как следует, когда политический горизонт прояснится. На четвертый месяц, однако, «Монт-Ориоль» вышел уже тридцать девятым изданием.

Едва том выходил из типографии, как Гавар уже мечтал о следующем и побуждал Мопассана к дальнейшей работе. В 1888 г. он пишет Мопассану, который путешествует на своей яхте по Средиземному морю: «Мне нечего прибавлять, что я был бы счастливейшим из издателей, если бы Вы привезли в вашем чемодане новый томик...»

Как издатель, Гавар позволял себе подавать советы автору. Прочитав в газете рассказ Мопассана, успех которого, по его мнению, был обеспечен, он излагал

автору обычно свои впечатления, и его чутье редко обманывало его. За полгода до выхода сборника «Иветта» он так оценил один из рассказов, вошедших в состав книги: «Черт возьми! Какой замечательный рассказ – “Les Martins” – написали вы в “Голуа”! Он не выходит у меня из головы. Вы ничего не написали до сих пор более сильного и никогда не узнаете, какое огромное впечатление он произвел на публику...» Гавар раньше многих подметил в Мопассане ту перемену, которая позже поразила критиков. По прочтении «Монт-Ориоль» он пишет автору длинное хвалебное письмо, в котором, между прочим, есть следующая характерная фраза: «В нем вы даете с неслыханною силой ту новую ноту, которую я давно у вас подслушал. Я предчувствовал эту нежность и умиление, уже читая “Весною”, “Мисс Гарриет”, “Иветта” и др.».

Впечатления читателя, впрочем, неразрывно связаны у Гавара с интересами издателя. В данном случае он искренне радуется перемене. «Этот роман завоеует нам от двадцати до двадцати пяти тысяч новых читателей, ибо он доступен самым робким душам из буржуазии, которую ваши первые произведения всегда пугали», – пишет он Мопассану. Предсказание сбылось в точности.

Мопассан хотел озаглавить один из сборников «Аббат Вильбуа» – по имени главного действующего лица в рассказе «Оливковая роща». Потом он передумал и хотел назвать сборник «Оливковая роща». Против этой замены восстал издатель, писавший автору: «Ваше заглавие “Оливковая роща” абсолютно непригодно для продажи; это мое безусловное убеждение, проверенное мною на десятке лиц, которые все держатся моего мнения. Первое заглавие “Аббат Вильбуа” было нехорошо, но имело преимущество: оно было звучно и хорошо запоминалось... Вы знаете, как важно заглавие книги в деле продажи; от этого не ускользают произведения величайших мастеров. Итак, по отношению к этой книге не ставьте меня в менее выгодное положение сравнительно с другими вашими вещами. Подумайте над этим, прошу вас, пока еще есть время, и уведомяте меня о вашем решении. Разумеется, я склонюсь перед вашими “оливками”, если вы захотите их оставить, но не иначе как с болью в душе». Мопассан уступил и предложил новое заглавие: «Бесполезная красота», которое было принято издателем с восторгом.

Наряду с писателем, увлеченным непрерывным творчеством, в Мопассане жил и человек, любивший подвижную, независимую и привольную жизнь. По многим вопросам, однако, и теперь еще приходится считаться с тем горделивым молчанием, в которое он замкнулся; приходится обходить те события, которые

не касаются непосредственно того, что он желал отдать на суд публики.

С тех пор как успех его произведений обеспечил ему материальный достаток, он стал мечтать о полной независимости и об удовлетворении одной из главных своих страстей – страсти к путешествиям. Его авторские права приносили ему около двадцати восьми тысяч франков в год. В одном из парижских банков на его имя лежали значительные суммы денег, из которых он мог черпать сообразно потребностям. По-прежнему неудержимо влекла к себе писателя Нормандия, и, как только явилась возможность, Мопассан выстроил в Этрета, вблизи мест, особенно дорогих ему по воспоминаниям, в глубине тихого сада небольшую дачу «Ля Гюйетт», как бы созданную для грез и работы. Сюда приезжал он отдыхать летом от лихорадочной жизни в Париже. Здесь, у родной природы, искал он покоя и новых вдохновений, пока взор его блуждал по скалам, холмам и лесам, покрытым ржавчиною осени. Много страниц было написано им в этой тиши. Мопассан жил здесь настоящей деревенской жизнью, с увлечением совершая прогулки, ловя рыбу и охотясь. Два раза в неделю он принимал у себя тесный кружок друзей. В числе ближайших друзей Мопассана следует упомянуть госпожу Леконт дю Нуайи, жившую неподалеку от него и воспоминания которой («En regardant passer la vie») дают чудесную картину жизни Мопассана. Товарищами его прогулок, рыбной ловли и охот были сельские дворяне-помещики, прожившие всю жизнь среди лесов, в старых замках, и рассказывавшие Мопассану местные истории и анекдоты, над которыми он смеялся своим раскатистым смехом и которые тщательно записывал, чтобы впоследствии своим ярким, сочным слогом вдохнуть в них новую жизнь.

Мало-помалу, однако, приезды его в Нормандию становились реже. Младший брат Мопассана в это время уже умер, сраженный параличом и оставив после себя вдову и дочь. Его тянуло теперь на юг, где жила его мать с невесткою и племянницею. Мопассан снял маленький домик «Изер» вблизи Канн. В скором времени то в той, то в другой бухте мягкого и ясного провансальского побережья, в Канне или в Антибе, появляется красивый профиль яхты «Милый друг», на которой писатель отправляется в дальние плавания.

Бегство от людей, уединение на море или в деревне сделались для него необходимостью. Его тянуло к простой жизни на природе, среди которой он мог бы забыть терпеливого и немного врага, дремавшего в нем, и мучительные приступы терзавшей его тоски.

Первые признаки недуга обнаруживались и раньше. Следы их надо искать в ранних произведениях писателя, полных отвращения к людям, постоянного страха смерти и бегства из повседневности.

В 1881 г., уезжая в Африку, он писал: «...Человек чувствует себя раздавленным ничтожеством окружающего, бессилием людей и однообразием их жизни... Всякое жилище, в котором долго живешь, становится тюрьмой! О! Бежать, уехать! Бежать от знакомых мест, от людей, от однообразных действий в определенные часы, бежать особенно от одних и тех же мыслей! Когда человек утомлен до того, что готов плакать с утра до вечера и иногда не может подняться, чтобы напиться воды; когда он устал от друзей, виденных им чересчур часто и вызывающих в нем раздражение... надо уехать и окунуться в новую и полную перемен жизнь. Путешествие – дверь, в которую уходишь от окружающего, словно для того, чтобы проникнуть в неизведанную еще действительность, кажущуюся сном...»

В Африке, среди зыбучих песков, писатель вкушает горькую радость высшего забвения: «Если бы вы знали, – пишет он, – как человек далек от света, далек от жизни, далек от всего, под сводом этой низкой палатки, сквозь дыры которой видны звезды и из-под краев которой – бесконечное царство сухого песку...»

Путешествия по железным дорогам утомляли Мопассана; он предпочитал им прогулки пешком. Но все же лучшие часы своей жизни он провел у воды: в молодости – на берегах Нормандии и Сены, позже – на Средиземном море. Здесь искал он исцеления для своих утомленных нервов. «Оно часто сурово, – говорил он про море, – это правда, но оно кричит, ревет, оно правдиво, великое море...» На море в нем просыпался нормандец. «Свою яхту он назвал “Милый друг”, подобно тому, как Золя свою лодку в Медане окрестил именем “Нана”. Когда страдания его возрастали чрезмерно, он находил успокоение только в сверкающем море, поверхность которого вздымалась и опускалась у его яхты, как ритм ровного дыхания...»

В три тома путешествий Мопассана («Бродячая жизнь», «Под солнцем», «На воде») вошли почти все воспоминания о его поездках в Алжир, Бретань, Италию, на Сицилию, в Тунис и на берега Средиземного моря. Он совершил путешествие по Алжиру в 1881 г. и хотел видеть эту страну солнца и песков непременно летом «под тяжелым палящим зноем, в ослепительном блеске солнца». Через Атлас он перевалил, сопровождая двух французов-лейтенантов, путешествовавших с целью исследования Зарэза. Путешествие продолжалось

более трех месяцев. Бретань Мопассан посетил летом 1882 г. пешком. Отправился по полям и тропинкам, избегая больших дорог, с дорожную сумкою за плечами. «Ночевать в сараях, когда не встречаешь трактиров, – пишет он, – есть хлеб с водою, когда нельзя достать иной провизии, не бояться ни дождя, ни расстояний, ни долгих часов правильной ходьбы – вот что нужно, чтобы пройти страну и проникнуть в нее до самого сердца, чтобы открыть рядом с городами, которыми проезжают туристы, тысячу предметов, существования которых и не подозревал». Во время этого путешествия им было записано несколько старых бретанских легенд; самая красивая из них – «Страна корриганов» – была рассказана им в «Галуа» от 10 декабря 1880 г. В 1885 г. Мопассан поехал в Италию и на Сицилию. Это путешествие рассказано им в «Бродячей жизни». Описания Пизы, Неаполя, итальянской весны, восхождения на Везувий, среди свежих еще потоков лавы, посещение Сорренто, Капри, Искии и Сицилии – лучшие страницы из когда-либо написанных им. Из многочисленных путешествий по Франции следует отметить его пребывание в Оверни перед созданием «Монт-Ориоль».

Эти скитания показывают уже, что Мопассан не любил светской жизни. Некоторые близорукие люди, сбитые с толку его эксцентрическими выходками последних лет жизни, изображали его «тщеславным, зараженным снобизмом и гордящимся своими высокопоставленными знакомыми...». По мере того как росла известность Мопассана, перед ним заискивали, его оспаривали друг у друга. Но он сохранил в течение всей жизни гордую независимость и презрительно холодную вежливость, которая никого не могла обмануть; его гордую душу не смогли залучить ни в какие светские сети.

Роман «Наше сердце» – сплошное обличение светской жизни. В нем писатель рисует «ненависть», вспыхивавшую вдруг в сердце героя, «внезапное раздражение против всего света, против жизни людей, их взглядов, их вкусов, их пустых склонностей и шутовских забав». В одном из своих писем Мопассан выражается еще яснее: «Всякий человек, который хочет сохранить за собою цельность мысли, независимость суждения, смотреть на жизнь, на человечество и на мир как свободный наблюдатель, вне всяких предрассудков, всякого предвзятого мнения, всякой религии, – должен, безусловно, держаться вдали от того, что называется “светскими отношениями”, ибо всеобщая глупость так заразительна, что, посещая себе подобных, видя и слушая их, человек не может не заразиться бессознательно их убеждениями, их идеями и их моралью глупцов».

Мопассан презирал светскую женщину, обольстительную и опасную, «которая рядится в идеи, как носит серьги, как носила бы кольца в ноздрях, если бы это было в моде...». В одном из последних рассказов находим горькое признание Мопассана: «Я никогда не любил...

Думаю, что я несправедлив к женщинам за то, что сильно поддаюсь их чарам... В каждом создании наряду с существом физическим есть существо духовное. Чтобы полюбить, мне нужно было найти такую гармонию между этими существами, какой я ни разу не встретил. Одно из них постоянно берет верх над другим, то духовное, то физическое...» Поэтому кокетливой и умной, но холодной в погоне за великими людьми светской женщине, синим чулком и всякого рода знаменитостям Мопассан предпочитал менее сложных героинь. Он включил любовь в свою чувственную жизнь и не давал ей вторгаться в свою духовную сферу.

«Женщины, рабом которых он казался, не занимали в его мыслях такого большого места, как это можно было бы предположить. Его ни в чем нельзя было провести». С необыкновенною силою скептического ума и психологического анализа он насквозь видел их мелкие, мещанские чувства, низость их нравов. Они его забавляли. И вопреки соблазнительным догадкам, которые высказывались с целью объяснения печального конца этой гордой независимой жизни, – «ни одна женщина не может похвастать тем, что пробудила в нем страсть, которая отняла бы у него свободу его духа».

«Большому» свету, пустому, тщеславному и порочному, интриги и лицемерие которого он не раз изобличал, Мопассан предпочитал немногие дружеские связи с литераторами, которым он оставался верен всю жизнь. Правда, он не любил споров об эстетике, лекций и академического позерства литературных салонов. Но все же он чувствовал себя вполне свободно только в среде себе равных – артистов и писателей. Там он находил вновь свою веселость, насмешливость, подъем духа, отличавшие его в юности; шутками, комическими выходками и раскатистым хохотом он напоминал тогда веселого гребца первых лет пребывания в Париже.

К друзьям юности, к завсегдатаям Круассе и Медана у Мопассана прибавилось еще несколько новых друзей. Он был хорош с Дюма-сыном, питавшим к нему отеческую любовь, с П. Бурже, неизменным спутником его путешествий, с Э. Родом, П. Эрвье и Л. Лакуром.

Мопассану были совершенно чужды те слабости и компромиссы, на путь которых часто дает увлечь себя модный писатель. В ранней юности он не раз говорил: «Я никогда не буду печататься в “Ревю де Дё Монд”[3 - “Revue de deux Mondes” - «Обозрение Старого и Нового Света».] , не выставлю кандидатуры в академию и не буду награжден орденом». Этим заявлениям в полушутливом тоне друзья его не придавали значения. Первому из них Мопассан действительно изменил в 1890 г., когда последний его роман «Наше сердце» был напечатан в «Ревю де Дё Монд»; об этой уступке он очень сожалел впоследствии. Но относительно прочего остался верен себе. Сколько друзья ни уговаривали его выставить кандидатуру в Академию, он мягко, но упорно отказывал в этом А. Дюма и Л. Галеви. Ненависть к окольным путям, презрение к официальным салонам, отвращение к лести держали его вдали от почестей, которых некоторые из его друзей добивались с настойчивостью (Э. Золя) и которые другими, наоборот, всегда презирались (Флобер, Додэ, Э. Гонкур). Как ни трудно ему было противиться уговорам, однако он отказался и от ордена Почетного Легиона.

Такова была эта жизнь, до последней сознательной минуты наполненная любовью к литературе и чувством достоинства литератора. К Мопассану можно по справедливости отнести слова, сказанные им о Флобере: «Почти всегда, - сказал Мопассан, - в художнике скрывается какое-нибудь честолюбие, чуждое искусству. Один гонится за славой, лучи которой создают нам своего рода апофеоз при жизни, кружа головы, заставляя рукоплескать толпу и пленяя сердца женщин... Другие жаждут денег ради самих денег и ради тех наслаждений, которые они дают... Флобер был предан литературе так беззаветно, что в его душе, переполненной этой любовью, никакому иному честолюбию не оставалось места...»

IV

По поводу последних лет жизни Мопассана досужими людьми было высказано много недоказанных утверждений, неуместных гипотез и корыстных инсинуаций; между тем именно в этом вопросе нужна самая большая осторожность.

Усердие журналистов, стремящихся не столько к правде, сколько к сенсации, и любопытство публики, жадной до разоблачений и нетребовательной к их

качеству, создали вокруг трагического конца Мопассана целые легенды.

Огромное количество документов и свидетельств, собранных и опубликованных в недавнее время одним из самых горячих поклонников писателя бароном А. Лумброзо, дают возможность восстановить до известной степени истину.

Не претендуя на полную картину развития болезни Мопассана, эти страницы могут указать, однако, на то, что болезнь подкрадывалась к писателю давно и что первые симптомы ее относятся к годам его юности.

Уже в 1878 г. Мопассан жаловался Флоберу на необычайное общее переутомление. Уже в первые годы пребывания его в Париже, несмотря на цветущий вид, многим приходилось подмечать в нем ту грусть, которая составляла одну из черт его беспокойной натуры. Однообразие жизни его угнетало, и он пил горькую сладость разочарования. В начале 80-х гг. XIX в. у Мопассана начинает портиться зрение. Флобер, узнав об этом, был очень обеспокоен, рекомендовал ему отдых, посылал его к врачам. За несколько дней до своей смерти он написал Мопассану: «Продолжаешь ли ты страдать глазами? Через неделю у меня будет Пуше; он сообщит мне подробности о твоей болезни, в которой я совершенно ничего не понимаю». К середине 80-х гг. XIX в. расстройство зрения усиливается и мешает Мопассану работать. Он советуется с врачом-специалистом, который за временным поражением зрения усматривает нечто более серьезное и грозное. «Это незначительное на первый взгляд страдание (расширение одного зрачка) указало мне, – пишет Ландольф, – благодаря функциональным расстройствам, которыми оно сопровождалось, на печальный конец, ожидающий молодого писателя...» Одно время Мопассану пришлось бросить совсем писать и пригласить секретаря-женщину, писавшую под диктовку. Тоска по гаснущему свету выражена во многих его произведениях.

Убедившись в наличии симптомов, грозивших весьма серьезными последствиями, Мопассан не подумал, однако, подчиниться какому-либо режиму, который принес бы ему некоторое облегчение. Его образ жизни всегда был далек от идеала умеренности, в который не укладывалась его могучая натура. Уже в 1876 г. Флобер писал ему: «Я предлагаю вам вести более умеренный образ жизни – в интересах искусства... Беречься! Все зависит от цели, которой человек хочет достигнуть. Человек, посвятивший себя искусству, не имеет права жить как остальные люди...»

К несчастью, Мопассан в это время более, чем когда-либо, повиновался требованиям своих чувств. Словно предчувствуя близкий конец, он находил наслаждение и удачу в том, чтобы переходить границы обычного и возможного для человеческих сил. Произведения Мопассана этого периода дышат грубою чувственностью, полны тем, что в жизни человека есть самого первобытного, место любви заступает в них инстинкт. Здоровье Мопассана подорвано чрезмерною работою. В последние десять лет он писал ежегодно от полутора до двух тысяч страниц. Вся эта жизнь, вместе взятая, в силу какого-то несчастного заблуждения, именовалась здоровьем и мудростью Мопассана.

Когда же, с тоскою в душе, он стал подмечать в себе истощение и утомление, то в ужасе перед надвигавшеюся ночью начал искать того возбуждения, которого должен бы был всеми силами бежать; он бросился на все яды, способные дать забвение страданий, и иллюзию жизни, и наслаждение новыми творческими образами. Не подлежит сомнению, что Мопассан в борьбе с тем нервно-мозговым истощением, которое он начинал ощущать, прибегал к эфиру, морфию, кокаину и гашишу. Он не употреблял их непрерывно, но все же, по собственному его признанию, у него есть, если не целые произведения, то отдельные страницы, написанные под влиянием этих наркотиков (например, отдельные места в «На воде»).

К эфиру Мопассан начал прибегать в качестве лекарства против страшных невралгий. Мало-помалу он привык к нему, а впоследствии, несомненно, стал им злоупотреблять. Не раз описывает он подробно и его действие. То не сон, не грезы, не болезненные видения, вызываемые гашишем или опиумом. То – необыкновенное обострение мышления, новая манера видеть вещи, судить и оценивать жизнь, с полною уверенностью в том, что эта манера и есть истинная. Это возбуждение сопровождается радостью и опьянением. Мопассан с благодарностью вспоминает это состояние, сменявшее собою его тоску и страдания. Но наряду с этим он удостоверяет, что в этом искусственном возбуждении есть новые ощущения, опасные, как все, что чрезмерно напрягает и возбуждает органы чувств человека. Не отказываясь от своей личности, не опьяняясь экстатическими грезами эфира, хлороформа или опия, Мопассан стал иногда в простых ароматах – в «симфониях запахов» – искать неведомых и сладких ощущений. Каждый аромат будил в нем особое воспоминание или особое желание. Он называл их «симфонией ласк».

Более важную роль, однако, чем все эти излишества, которым предавался Мопассан, если только они в свою очередь не были проявлениями болезни,

играла в его судьбе наследственность. Не раз поднимался этот вопрос, не приводя, однако, к той откровенности, которая в таких случаях необходима и желательна. От расследований подобного рода в среде лиц, близких писателю, приходится отказаться. Но на основании признаний, которые ныне опубликованы и часть которых подтверждена доказательствами, нужно заключить, что Ги де Мопассан был обременен тем, что врачи называют «тяжкой наследственностью», которая в соединении с его образом жизни могла постоянно угрожать ему перспективу прогрессивного паралича.

Уже в ранних произведениях Мопассана встречаются болезненные порывы, навязчиво звучит ужас смерти, с которым он борется всею силою своей логики. Из года в год, через «Под солнцем», «Бродячую жизнь», через некоторые мрачные страницы «Милого друга», «Нашего сердца», «Сестер Рондоли», «Орля», «Бесполезной красоты» можно проследить развитие и капризы болезни, а также и отчаяние человека, чувствующего, как расшатывается его воля, как омрачается его рассудок.

Совпадая с его страстью к путешествиям, в нем мало-помалу развивается вкус к одиночеству. Эта страсть растет в нем и становится все болезненнее. Между 1884 и 1890 гг. нет книги, в которой не звучала бы эта мрачная нота. Отдельные места в «Монт-Ориоль», в «Сильна как смерть», такие рассказы, как «Ночь», «Одиночество», «Гостиница», целые главы в «На воде», «Под солнцем», «Бродячей жизни» – все это лишь новые вариации на старую тему. Но одиночество в свою очередь печально. «Одиночество, – пишет сам Мопассан, – опасно для интеллектуальных работников... Когда мы подолгу остаемся одни, мы наполняем окружающую нас пустоту призраками». К чему уходить в себя, перерывать всю жизнь? Разве душа художника в мире не обречена на вечное одиночество? И разве для того, кто умеет видеть, вся жизнь не является горьким зрелищем непроницаемости людей и предметов? Любовь сближает тела, но не сближает души. То, что верно относительно любви, верно относительно всех ласк. «Все люди идут рядом через события, но никогда ничто не в силах слить воедино два существа, – говорит Мопассан, – невзирая на тщетные, хотя и неустанные усилия людей, с самых первых дней мира, – усилия разбить тот ад, из которого рвется их душа, замкнутая навеки и навеки одинокая, – усилия рук, губ, глаз, уст, обнаженного трепещущего тела, усилия любви, исходящей поцелуями».

Внезапно среди того молчания, в котором он жаждал уединиться, он услышал «внутренний, глубокий и отчаянный крик». Он ждал его и встретил, трепеща от

ужаса. Этот голос кричал в нем «о крушении жизни, о бесплодности усилий, о слабости ума и бессилии тела». Этот таинственный голос, который Мопассан услышал однажды ночью на яхте «Милый друг» – не более как символ. То было на самом деле страшное нервное возбуждение. Но Мопассан не стал противиться ему, а, наоборот, с этой поры отдался всецело панике чувств и бреду ума. Ужас входит в его жизнь наряду с потреблением наркотических средств. В этом стремлении к тому, что способно его терзать, многие видят один из любопытнейших симптомов невроза, который его подтачивал.

Произведения, где Мопассан описывает страх, многочисленны; о них одних можно написать целый этюд. Рассказывая свои кошмары и рисуя свои призраки, Мопассан делает это, однако, с некоторою неуверенностью, колеблясь, что само по себе является уже залогом их искренности и «подлинности». Из боязни показаться смешным, он словно отступает перед начатою исповедью.

Несообразность приводимых фактов успокаивает его; вырванные из той обстановки, которая делала их правдоподобными, они уже не внушают ему того ужаса. Ясность слов и логика фраз рассеивают их туманность. Поэтому все подобные рассказы, хотя и написанные «кровью сердца», представляются автором в виде загадок, в виде вопросов, поставленных публике («Он?», «Кто знает?»). Автор словно говорит читателю: «Читай, смейся над моею слабостью, над моим ужасом, над моим безумием сколько угодно; но, главное, помоги мне разобраться в самом себе, помоги крикнуть со всею силою правды и логики, что рассказы мои не более как призраки, фантазии, бред больного!»

До сих пор, однако, Мопассан, среди своего одиночества, среди своих предчувствий смерти, не терял власти над собою. Но мало-помалу сознание собственной личности начинает ускользать от него; и этот решительный момент находит отражение в его творчестве. Критика при разборе «Орля» не раз указывала, насколько рассказ этот ценен в качестве документа к истории болезни автора. Три рассказа, написанные с промежутками в три года, являют симптомы медленного угасания писателя. Рассказ «Он?» рисует читателю явление, известное в науке под названием «внешняя автоскопия»[4 - От фр. *autoscopie externe.*]; оно состоит в том, что человек видит самого себя. В «Он?» Мопассан рассказывает, как, вернувшись однажды вечером после долгого дня, проведенного в одиночестве и нервном возбуждении, герой рассказа находит дверь квартиры отпертой; войдя в комнату, он видит человека, сидящего в кресле и греющегося у камина. Он протягивает руку, чтобы опустить ее на плечо сидящего, – кресло пусто... С этой минуты во мраке ночей он будет жить в невероятном страхе увидеть снова таинственного двойника, созданного его воображением.

В 1889 г. Мопассан в реальности оказался жертвою такой галлюцинации. В то время как он сидел за письменным столом, дверь его кабинета отворилась и в комнату вошла его собственная фигура, села против него, опустив голову на руку и начала диктовать то, что он писал. Когда он кончил и встал с места, видение исчезло. Эта галлюцинация совпадает с эпохой появления у Мопассана характерных симптомов прогрессивного паралича.

Герой рассказа «Орля» – больной человек, с ускоренным пульсом, с расширенными зрачками, с трепещущими нервами; его преследует ужасное ощущение грядущей опасности, ожидание неведомого несчастья или смерти. Это ощущение принимает образ, хотя и невидимый, но присутствие которого герой рассказа постоянно чувствует. Он внушает герою рассказа поступки, ускользающие от контроля логики, он садится в его кресло и переворачивает страницы его книги, он по ночам выпивает воду из его графина и срывает в саду цветок, к которому автор протягивает руку. Но последний не видит около себя тени в виде человека; он только угадывает присутствие вблизи деспотического существа, в которое до известной степени переходит он сам. В конце концов, вся жизнь его сводится к одному желанию: во что бы то ни стало и какую бы то ни было ценою – будь то железом, ядом, огнем – избавиться от страшного товарища, прозванного им «Орля».

Дополнением к этим вещам служит рассказ «Кто знает?», появившийся после «Орля», – в 1890 г. В нем мы находим последний вид галлюцинации. Событию предшествует «таинственное предчувствие, овладевающее человеком в минуты, когда он должен увидеть нечто необъяснимое». Однажды ночью герой рассказа присутствует при фантастической процессии: его мебель таинственным образом покидает его дом. Самая нелепость и невозможность подобного факта успокаивает его, и он начинает считать себя просто игрушкой галлюцинации. Но на другой день он удостоверяет реальное исчезновение мебели, которую вскоре находит у одного антиквара в Руане. В ту минуту, как он собирается выкупить мебель и арестовать хозяина лавки за покупку краденого, и то и другое исчезает с невероятною быстротой. Наконец, несколько времени спустя, мебель сама возвращается на прежнее место в дом владельца. Этот рассказ производит потрясающее впечатление. Здесь автор не относится уже сознательно к непонятным фактам, не пытается уяснить их себе, – он пассивен и без сопротивления входит в область таинственных неведомых сил.

Рассказ «Кто знает?» – последний из написанных Мопассаном.

Против надвигающегося безумия Мопассан искал спасения. Герой рассказа «Он?» хочет жениться из трусости, чтобы чувствовать вблизи себя по ночам живое существо, к которому можно обратиться с вопросом или несколькими словами. Позже он ищет необходимого отдыха и рассеяния в путешествиях. Но все бесполезно. Тогда перед невозможностью уйти от страшного врага впервые возникает у него мысль о смерти («Тогда... тогда... надо, чтобы я убил себя!» («Орля»)). Все это мы находим и в жизни Мопассана. Он не был женат, но мы знаем, что общества некоторых женщин он искал, стараясь спастись от одиночества. Он путешествовал. Но мы видели, что даже в пустыне он не мог избавиться от преследовавшей его тоски и тревоги. Он сделал попытку убить себя в последнюю светлую минуту, не желая пережить погибшего разума, но силы изменили ему.

Безумие Мопассана было замечено окружающими лишь к концу 1891 г. перед его попыткой к самоубийству. Но тревожные признаки нервного расстройства проявлялись гораздо раньше. В 1889 г., вернувшись из Африки, Мопассан заявлял друзьям, что считает себя вполне здоровым. В следующем же году, однако, здоровье его сразу изменилось к худшему. Он худеет, цвет лица приобретает кирпичный оттенок, а взор – болезненную неподвижность. Когда они вместе с Э. Золя и Э. Гонкурром отправились на открытие памятника Флоберу и подплывали по Сене к Руану, указывая на реку, над которой клубился густой утренний туман, Мопассан воскликнул: «Моим прогулкам в лодке по этому туману я обязан тем, что имею теперь». Видевшие его на открытии памятника (многие – в последний раз) не могли обмануться относительно его участи. Он стоял перед статуей своего учителя – осунувшийся, похудевший, дрожа от стужи в этот ноябрьский день. Его с трудом можно было узнать.

Нервное возбуждение все росло, раздражительность усиливалась и между 1888 и 1891 гг. достигла крайних пределов. Целыми месяцами он не мог спать.

В июне 1891 г., по совету врача, Мопассан отправился в Дивонн, но вскоре вернулся обратно, объясняя свой отъезд наводнением, будто бы затопившим его комнату, и упорством врача, не желавшего прописать ему холодные души Шарко, которых он требовал. Матери он писал из Дивонна (последнее, по видимому, письмо): «Мой дом, как, впрочем, и все заведение, открыт всем ветрам с озера и с ледников. И вот мы терпим дожди и холод снегов, благодаря которым у меня возобновились все страдания, особенно головные боли. Однако души необыкновенно меня укрепили и заставили даже пополнеть» (27 июня 1891 г.).

Пребывание в Дивонне, а затем на водах в Шампеле – последние этапы его сознательной жизни. Доктора и друзья, однако, тщательно скрывают от него истинное положение и сущность его болезни. В Шампеле Мопассан проявлял уже некоторую эксцентричность, отказывался исполнять предписания врача, продолжал требовать ледяные души. Часто описывал он свои наслаждения эфиромана и показывал ряды флаконов, с помощью которых он устраивал себе «симфонии запахов». Но временами у него бывали светлые промежутки. Поэт Доршен, также пользовавшийся водами Шампеля, вспоминает один трагический вечер, когда можно было считать Мопассана почти выздоровевшим. Мопассан обедал у Доршена; он принес с собою рукопись романа «Анжелюс», с которой почти не расставался; в течение двух часов после обеда он рассказывал свой роман с необыкновенною логичностью, красноречием и сильно волнуясь. Рассказ был так ясен, так полон, что девять лет спустя Доршен мог дать подробный пересказ и анализ романа. Под конец вечера Мопассан заплакал. «Плакали и присутствовавшие, – говорит Доршен, – видя, какой талант и сколько любви и нежности было еще в этой душе... В голосе, словах и слезах Мопассана было что-то молитвенное, что-то стоявшее выше ужаса жизни и страха небытия... А через несколько дней он указывал на разбросанные листки своей рукописи и с мрачным отчаянием говорил: “Вот первые пятьдесят страниц моего романа. Скоро год, как я не могу написать ни строчки дальше. Если через три месяца книга не будет окончена, я себя убью...”»

Из Шампеля он уехал в Канны, и здесь в течение некоторого времени ему казалось, что он выздоравливает; но осенью болезнь снова усилилась; в ноябре он видел, что все кончено. Другам, навещавшим его в это время, он давал понять, что с этой минуты ничто не в силах уже его обмануть и что у него хватит мужества освободиться самому. Провожая своего друга Эредиа и прощаясь с ним, Мопассан сказал: «Прощай, до свиданья! Нет, прощай!» И с геройским подъемом прибавил: «Мое решение принято. Я не буду долго тянуть. Не хочу пережить самого себя. Я вступил в литературную жизнь, как метеор. Я уйду из нее, как удар молнии».

У него хватило еще сил высказать свою последнюю волю. 5 декабря он пишет парижскому поверенному: «Я так болен, что боюсь умереть на днях», посылает ему завещание, но затем решает оставить завещание у каннского нотариуса, у которого хранились все семейные бумаги, и просит парижского поверенного снести с последним.

Начиная с этой минуты можно было постоянно ожидать катастрофы.

Она разразилась 1 января 1892 г.

Накануне Рождества Мопассан дал обещание приехать обедать к матери, жившей на вилле Равенель, вблизи Ниццы. В эту минуту он казался спокойным, весело говорил о своих планах и просил мать сделать ему извлечение из романов Тургенева для статьи, которую он собирался писать. Внезапно решение его изменилось. В день Рождества он не поехал в Ниццу, а провел его на острове Св. Маргариты в обществе двух дам, сестер, из которых одна занимала большое место в его жизни и которые на следующее утро уехали в Париж. Можно догадываться, сколь трагично было это последнее свидание. Мопассан вернулся в Канны.

Теперь он дал обещание матери приехать к ней в день Нового года. Но 1 января, чувствуя себя больным, отказался от этого намерения. Уступая, впрочем, просьбам слуги, желавшего вырвать его из горького одиночества, рассеять и успокоить, Мопассан поехал в Ниццу. Вот что рассказывает об этом печальном свидании госпожа Мопассан: «В день Нового года Ги приехал, с глазами, полными слез, и обнял меня с необычайным жаром. Все время после полудня мы провели в беседе о тысяче вещей; я не замечала в нем ничего особенного. Только позже, за обедом, наедине, я увидела, что он бредит. Несмотря на мои мольбы, на мои слезы, вместо того чтобы лечь в постель, он решил тотчас же ехать обратно в Канны. Прикованная к дому болезнью, я молила его: “Не уезжай, сын мой, не уезжай!” Цеплялась за него, валялась у него в ногах. Он последовал за своим навязчивым видением. Я смотрела, как он удалялся во мраке ночи... возбужденный, безумный, в бреду, направляясь неизвестно куда. Мое бедное дитя!»

Противясь мольбам матери, Мопассан тотчас же после обеда велел подать экипаж и уехал в Канны на свою виллу «Изер». Едва войдя в дом, он заперся в своей комнате; обеспокоенный слуга хотел остаться вблизи него, Мопассан его отослал. Понимая, что один он не в силах будет защитить своего господина от самого себя, он позвал на помощь двух матросов с лодки «Милый друг». С большим трудом удалось им втроем удержать больного в постели до прихода доктора. Состояние возбуждения все усиливалось... Пришлось прибегнуть к горячечной рубашке. Больного решили перевезти в лечебницу.

Прежде чем увезти его в Париж, по рассказу Лумброзо, друзья сделали последнюю попытку пробудить сознание в его угасшей памяти, в его расстроенном мозгу. Знали, как страстно он любил свою яхту «Милый друг» –

покорную слугу его поездок: быть может, вид яхты вернет его на несколько минут к действительности, быть может, она вырвет у него несколько связанных слов. Его вывели на берег. Яхта тихо покачивалась на волнах. Голубое небо, прозрачный воздух, изящный профиль лодки – все это, казалось, несколько успокоило Мопассана. Выражение его лица смягчилось. Он долго, с грустью и нежностью смотрел на яхту. Шевелил губами, но ни один звук не вырвался из его уст. Его увели. Несколько раз он оборачивался, чтобы взглянуть еще на «Милого друга».

То было его последнее «Прости» могучей и дикой жизни, которую он так любил и которую хотел охватить чересчур страстным, безумным объятием. С этой минуты все, что он любил, все радости, все желания, все смертоносные страсти его угасали в нем медленно, в молчании ночи. Могильный покой небытия окутал все.

Последовала 18-месячная агония... Друзья навещали его в лечебнице доктора Бланш в Париже, куда он был помещен, принося оттуда время от времени сведения о его состоянии. Они были все менее и менее утешительны.

6 июля 1893 г. Ги де Мопассан тихо скончался.

Жизнь

Госпоже Брэнн дань уважения преданного друга и в память о друге умершем.

Ги де Мопассан

Скромная истина

I

Уложив чемоданы, Жанна подошла к окну; дождь не переставал.

Всю ночь стекла звенели и по крышам стучал ливень. Нависшее, отягченное водою небо словно прорвалось, изливаясь на землю, превращая ее в кашу, растворяя, как сахар. Порывы ветра дышали тяжким зноем. Рокот разлившихся ручьев наполнял пустынные улицы; дома, как губки, впитывали в себя сырость, проникавшую внутрь и проступавшую испариной на стенах, от подвалов до чердаков.

Выйдя накануне из монастыря и оставив его навсегда, Жанна жаждала наконец приобщиться ко всем радостям жизни, о которых так давно мечтала; она опасалась, что отец будет колебаться с отъездом, если погода не прояснится, и в сотый раз за это утро пытливо осматривала горизонт.

Затем она заметила, что забыла положить в дорожную сумку свой календарь. Она сняла со стены листок картона, разграфленный на месяцы, с золотой цифрой текущего 1819 года в виньетке. Она вычеркнула карандашом четыре первых столбца, заштриховывая все имена святых вплоть до второго мая – дня своего выхода из монастыря.

Голос за дверью позвал:

– Жанетта!

Жанна ответила:

– Войди, папа.

И в комнату вошел ее отец.

Барон Симон-Жак Ле Пертюи де Во был дворянином прошлого столетия, чудаковатым и добрым. Восторженный последователь Жан-Жака Руссо, он питал нежность влюбленного к природе, лесам, полям и животным.

Аристократ по рождению, он инстинктивно ненавидел девяносто третий год; но, философ по темпераменту и либерал по воспитанию, он проклинал тиранию с безобидной и риторической ненавистью.

Его великой силой и великой слабостью была доброта, такая доброта, которой не хватало рук, чтобы ласкать, раздавать, обнимать, – доброта творца, беспорядочная и безудержная, подобная какому-то омертвлению волевого нерва, недостатку энергии, почти пороку.

Человек теории, он придумал целый план воспитания своей дочери, желая сделать ее счастливой, доброй, прямодушной и нежной.

До двенадцати лет она жила дома, а потом, несмотря на слезы матери, была отдана в монастырь Сакре-Кёр.

Там отец держал ее в строгом заключении, взаперти, в неизвестности и в полном неведении дел людских. Он желал, чтобы она возвратилась к нему семнадцатилетней целомудренной девушкой, и собирался затем сам погрузить ее в источник поэзии разумного, раскрыть ей душу и вывести из неведения путем созерцания наивной любви, простых ласк животных, ясных законов жизни.

Теперь она вышла из монастыря сияющая, полная сил и жажды счастья, готовая ко всем радостям, ко всем прелестным случайностям жизни, которые представлялись ее воображению в дни праздности, в долгие ночи.

Она походила на портрет Веронезе своими блестящими белокурыми волосами, как бы обесцветившимися на ее коже, аристократической, чуть розоватой коже, оттененной легким пушком, который напоминал бледный бархат и был чуть заметен под ласкою солнца. Глаза Жанны были синие, той темной синевы, какою отличаются глаза голландских фаянсовых фигурок.

Около левой ноздри у нее была маленькая родинка; другая была справа на подбородке, где вилось несколько волосков, до того подходивших к цвету ее кожи, что их с трудом можно было различить. Она была высокого роста, с развитой грудью и гибкой талией. Ее чистый голос казался иногда чересчур резким, но искренний смех разливал кругом нее радость. Нередко привычным движением она подносила руки к вискам, как бы желая пригладить прическу.

Она подбежала к отцу, обняла его и поцеловала.

– Ну что же, едем? – спросила она.

Он улыбнулся, тряхнул довольно длинными, уже седыми волосами и протянул руку к окошку:

- Неужели тебе хочется отправиться в путь в такую погоду?

Но она молила его ласково и нежно:

- Поедем, прошу тебя, папа. После полудня погода разгуляется.

- Но мама ни за что не согласится.

- Согласится, обещаю; я беру это на себя.

- Если тебе удастся ее уговорить, я не возражаю.

И она стремглав бросилась в комнату баронессы. Ведь этого дня отъезда она ждала со все возрастающим нетерпением.

С минуты поступления в Сакре-Кёр она не покидала Руана, потому что отец не разрешал ей никаких развлечений раньше установленного им срока. Только два раза возили ее на две недели в Париж, но это был опять-таки город, а она мечтала лишь о деревне.

Теперь ей предстояло провести лето в их поместье «Тополя», в старом фамильном замке, стоявшем на скалистом побережье близ Ипора, и свободная жизнь на берегу моря сулила ей бесконечные радости. Кроме того, было решено подарить ей этот замок, чтобы она постоянно жила в нем, когда выйдет замуж.

Дождь, ливший непрерывно со вчерашнего вечера, был первым большим горем в ее жизни.

Но через три минуты она выбежала из комнаты матери, крича на весь дом:

- Папа, папа! Мама согласна; вели запрягать.

Ливень не прекращался; он даже, пожалуй, усилился, чуть только карета подъехала к крыльцу.

Жанна собиралась уже сесть в экипаж, когда с лестницы спустилась баронесса, поддерживаемая с одной стороны мужем, а с другой – рослою горничной, хорошо сложенной и сильной, как парень. Это была нормандка из Ко; на вид ей можно было дать по меньшей мере двадцать лет, а ей еще только что минуло восемнадцать. В семье барона с ней обращались почти как со второй дочерью, потому что она была молочной сестрой Жанны. Ее звали Розали.

Главная обязанность Розали состояла в уходе за ее госпожой, непомерно располневшей за последние годы из-за расширения сердца, на которое она постоянно жаловалась.

Баронесса, сильно задыхаясь, сошла на крыльцо старого особняка, взглянула на двор, по которому стремительно текла вода, и заметила:

– Право же, это неразумно.

Муж, по обыкновению улыбаясь, ответил:

– Но ведь вы так пожелали, мадам Аделаида.

Баронесса носила пышное имя Аделаиды, и муж прибавлял к нему всегда «мадам» с оттенком чуть насмешливого уважения.

Она снова двинулась вперед и с трудом поднялась в экипаж, рессоры которого сразу осели. Барон поместился рядом с нею, а Жанна и Розали уселись на скамейке напротив.

Вслед за ворохом накидок – отъезжающие прикрыли ими себе колени – кухарка Людивина принесла две корзины и поставила их в ногах; затем она вскарабкалась на козлы рядом с дядей Симоном и укуталась большим пледом, совершенно ее закрывшим. Привратник с женою подошли проститься, захлопнули дверцу кареты и получили последние приказания по поводу багажа, который надлежало отправить следом на тележке; после этого тронулись в путь.

Кучер, дядя Симон, понутив голову и горбясь под дождем, совсем исчез в своей ливрее с тройным воротником. Порывы ветра со стоном бились в стекла и заливали дорогу потоками воды.

Карета, запряженная парю лошадей, быстро спустилась к набережной и поехала вдоль ряда больших судов, мачты, реи и снасти которых печально поднимались, словно оголенные деревья, в изливавшееся ручьями небо; затем она выехала на длинный бульвар горы Рибуде.

Вскоре дорога пошла лугами; время от времени сквозь водяной туман смутно вырисовывалась мокрая ива, ветви которой свисали с беспомощностью трупа. Чавкали подковы лошадей, а из-под колес летели брызги грязи.

Все молчали; самые мысли, казалось, пропитались сыростью, как и земля. Мать Жанны, откинувшись, прислонилась к стенке кареты и закрыла глаза. Барон хмуро рассматривал однообразные и залитые дождем поля. Розали, с узлом на коленях, дремала животной дремотой простолюдинов. Но Жанна чувствовала, что оживает под этой теплой струящейся влагой, словно комнатное растение, которое вынесли на воздух; полнота радости, подобно листве, защищала ее сердце от грусти. Она молчала, но ей хотелось петь, высунуть наружу руку и, набрав воды, напиться; она наслаждалась и тем, что лошади бегут крупной рысью, и тем, что она видит, как печальны окрестности, и тем, что чувствует себя защищенной от этого потопа.

Под яростным дождем от блестящих круп лошадей поднимался пар, словно от кипящей воды.

Баронесса мало-помалу начала засыпать. Ее лицо, обрамленное шестью правильно расположенными и колыхавшимися локонами, понемногу опускалось, мягко опираясь на три больших волны ее шеи, последние складки которой терялись в безбрежном море груди. Голова ее приподнималась при каждом вздохе и тотчас же падала снова, щеки надувались, а из полуоткрытых губ вырывалось звонкое похрапывание. Муж наклонился к ней и тихонько вложил ей в руки, скрещенные на полном животе, маленький кожаный бумажник.

Это прикосновение разбудило ее; она взглянула на бумажник затуманенным взором, с оупением человека, сон которого внезапно прервали. Бумажник упал и раскрылся. Золото и банковые билеты рассыпались по полу кареты. Баронесса

совсем проснулась, а веселое настроение дочери проявилось во взрыве хохота.

Барон подобрал деньги и положил их жене на колени:

– Вот, мой друг, все, что осталось от моей фермы в Эльто. Я продал ее, чтобы восстановить «Тополя», где мы теперь будем жить подолгу.

Она сосчитала деньги – шесть тысяч четыреста франков – и спокойно положила их в карман.

Это была уже девятая проданная ферма из тридцати одной, оставленных им родителями. Однако они еще обладали приблизительно двадцатью тысячами годового дохода с земель, которые при хорошем управлении могли бы легко приносить в год и тридцать тысяч.

Они жили скромно, и этого дохода было бы достаточно, не будь в доме бездонной пропасти, вечно разверстой: их доброты. Из-за нее деньги испарялись в их руках, как испаряется вода в болоте под палящими лучами солнца. Деньги текли, бежали, исчезали. Как это происходило? Никто не знал. Каждую минуту кто-нибудь из них говорил:

– Не знаю, как это вышло, но я истратил сегодня сто франков, а не сделал ни одной крупной покупки.

Легкость, с которой они раздавали деньги, была, впрочем, одной из величайших радостей их жизни, и тут они прекрасно и трогательно понимали друг друга.

Жанна спросила:

– А красив теперь мой замок?

Барон весело ответил:

– Увидишь, дочурка.

Мало-помалу ярость ливня стихала, и вскоре от него осталось лишь нечто вроде тумана – тончайшая сеющаяся дождевая пыль. Облачный свод как бы

приподнялся, побелел, и вдруг сквозь какую-то невидимую щель длинный косой луч солнца упал на луга.

Тучи разошлись, показалась синяя глубина небосвода, потом просвет увеличился, как в разрывающейся завесе, и прекрасное лазурное небо, чистое и глубокое, развернулось над землей.

Пролетел свежий и легкий ветерок, словно счастливый вздох земли; когда проезжали мимо садов или лесов, слышалось порою веселое пение птицы, сушившей свои перья.

Вечерело. Теперь в карете все спали, кроме Жанны. Два раза останавливались на постоянных дворах, чтобы дать передохнуть лошадям, покормить их овсом и напоить.

Солнце село; вдали зазвонили колокола. В какой-то деревушке зажглись фонари; небо также засветилось бесчисленными звездами. То там, то здесь появлялись освещенные дома, пронизывающие мрак огненными точками; и вдруг за косогором, сквозь ветви сосен, показалась луна, огромная, красная и словно оцепеневшая от сонливости.

Было так тепло, что окна кареты оставались опущенными. Жанна, истомленная мечтами и пресытившаяся счастливыми видениями, теперь отдыхала. Чувствуя онемение от долгого пребывания в одной и той же позе, она время от времени открывала глаза, смотрела в окно и различала в светлой ночи бегущие мимо деревья, фермы или нескольких коров, лежавших там и сям в поле и подымавших головы. Она старалась найти другую позу и пробовала снова поймать нить прерванных грез, но непрерывный стук экипажа наполнял ей уши, утомлял ее мысль, и она вновь закрывала глаза, чувствуя, что ее ум так же устал, как и тело.

Наконец остановились. У дверец кареты стояли мужчины и женщины с фонарями в руках. Приехали. Жанна, сразу проснувшись, проворно выскочила из экипажа. Отец и Розали, которым светил один из фермеров, почти вынесли баронессу, совершенно разбитую, жалобно стонавшую и без конца твердившую еле слышным, умирающим голосом:

– Ах, боже мой! Ах, дети мои!

Она не захотела ни пить, ни есть, легла в постель и тут же заснула.

Жанна и барон ужинали вдвоем.

Они переглядывались и улыбались, брали друг друга через стол за руки, а потом, полные детской радости, вместе принялись за осмотр заново отделанного дома.

Это было одно из высоких и обширных нормандских зданий, нечто среднее между фермой и замком, одно из зданий, построенных из белого камня, сделавшегося серым, и настолько просторных, что в них могло вместиться целое племя.

Очень обширная прихожая делила дом пополам, пересекая его насквозь; высокие двери вели из нее на обе его стороны. Двойная лестница, казалось, перешагивала через этот вход, оставляя середину прихожей пустою и соединяя во втором этаже оба своих подъема наподобие моста.

В нижнем этаже, направо, входили в огромную гостиную, обтянутую штофом с изображением птиц среди листвы. Вся мебель, обитая вышитой крестиком материей, представляла собою иллюстрации к басням Лафонтена; Жанна затрепетала от радости при виде стула, который любила еще ребенком и на котором были изображены Лисица и Журавль.

Рядом с гостиной были расположены библиотека со старинными книгами и две комнаты, не имевшие определенного назначения; налево от входа были столовая с новой деревянной обшивкой, бельевая, буфетная, кухня и небольшое помещение, в котором находилась ванна.

Все пространство второго этажа пересекал коридор. Десять дверей из десяти комнат тянулись одна за другой. В самой глубине, направо, была комната Жанны. Они вошли туда. Барон только что отделал ее заново, используя обивку и мебель, валявшиеся на чердаке без употребления.

Старинные фламандские ткани населяли эту комнату причудливыми фигурами.

Увидев свою кровать, девушка вскрикнула от радости. По четырем углам четыре большие птицы, выточенные из дуба, черные и блестящие от воска, поддерживали ложе и казались его хранителями. С боков находились две широкие гирлянды резных цветов и фруктов; четыре колонки с тонкими желобками, увенчанные коринфскими капителями, поддерживали карниз из роз и амуров.

Кровать высилась величественно, но была в то же время легка и изящна, несмотря на мрачный вид дерева, потемневшего от времени.

Одеяло и полог кровати сверкали, как два небосвода. Они были сделаны из старинного темно-синего шелка, по которому, точно звезды, были разбросаны крупные цветы лилии, вышитые золотом.

Налюбовавшись вдоволь кроватью, Жанна подняла свечу и стала рассматривать обивку стен, стремясь понять содержание рисунков.

Молодой вельможа и молодая дама, одетые в необыкновеннейшие костюмы зеленого, красного и желтого цвета, беседовали под голубым деревом, на котором зрели белые плоды. Большой кролик, тоже белый, пощипывал серую траву.

Прямо над этими фигурами, в условной перспективе, виднелись пять круглых домиков с остроконечными крышами, а вверху, почти на небе, – красная ветряная мельница.

Все это было заткано крупными разводами, изображавшими цветы.

Два других панно были очень похожи на первое; только на них из домиков выходили четыре человека, одетые по-фламандски, и простирали к небу руки в знак крайнего изумления и гнева.

Последнее же панно изображало драму. Неподалеку от кролика, который все еще продолжал щипать траву, был распростерт молодой человек, казавшийся мертвым. Молодая дама, глядя на него, пронзала себе грудь шпагой, а плоды на дереве сделались черными.

Жанна уже отказалась было понять все это, как вдруг обнаружила в углу микроскопического зверька, которого кролик, будь он живой, мог бы проглотить, как травинку. А между тем это был лев.

Тогда она узнала зловещие Пирама и Тисбы, и хотя улыбнулась наивности рисунков, все же почувствовала себя счастливой, что ей придется быть лицом к лицу с этой любовной историей, которая будет постоянно твердить ей о дорогих надеждах, и что каждую ночь во время сна над ней будет витать эта любовь античного мифа.

Остальная мебель представляла собой собрание самых различных стилей. Это была обстановка, которая остается в семье от каждого поколения и превращает старинные дома во что-то вроде музеев, где смешивается решительно все. По бокам великолепного, окованного блестящими медными украшениями комода в стиле Людовика XIV стояли два кресла в стиле Людовика XV, еще хранившие свою прежнюю шелковую обивку с букетами цветов. Секретер розового дерева стоял против камина, на котором под круглым колпаком красовались часы в стиле ампир.

То был бронзовый улей, висевший на четырех мраморных колонках над садом из золоченых цветов. Тоненький маятник, спускавшийся из улья через длинную щель, непрерывно покачивал над этим цветником крохотную пчелку с эмалевыми крылышками.

С одной стороны улья был вделан циферблат из расписного фаянса.

Часы пробили одиннадцать. Барон поцеловал дочь и ушел к себе.

Тогда Жанна с чувством сожаления улеглась в постель.

В последний раз окинула она взглядом свою комнату и потушила свечу. Но с левой стороны кровати, прислоненной к стене только изголовьем, было окно, через которое проникал поток лунного света, разливавшийся по полу прозрачной лужицей.

Бледные отблески отражались на стенах, слабо лаская любовь неподвижных Пирама и Тисбы.

В другое окно, приходившееся против ног кровати, Жанна видела высокое дерево, залитое кротким сиянием. Она повернулась на бок и сомкнула глаза, но через некоторое время снова открыла их.

Ей чудилось, что ее все еще подбрасывают толчки экипажа, стук которого продолжал звучать в ее ушах. Она пробовала лежать неподвижно, надеясь, что спокойная поза позволит ей наконец заснуть; но волнение, которым был объят ее ум, передалось вскоре и ее телу.

У нее сводило ноги, лихорадка усиливалась. Тогда она встала и, босиком, с голыми руками, в длинной рубашке, придававшей ей вид призрака, перешагнула через лужу света, разлитую на полу, отворила окно и выглянула наружу.

Ночь была так светла, что все было видно, как днем, девушка узнавала места, которые она любила еще в раннем детстве.

Против нее и всего ближе к ней расстился широкий газон, который при ночном освещении казался желтым, как масло. Два гигантских дерева возвышались перед замком по обеим сторонам его – платан на севере, липа на юге.

Небольшая роща, расположенная на самом краю лужайки, окаймляла это имение, защищенное от морских бурь пятью рядами вековых вязов, искривленных, ободранных, растерзанных, верхушки которых были срезаны наклонно, как скат крыши, вечно бушевавшим морским ветром.

Это подобие парка было ограничено справа и слева двумя длинными аллеями громадных тополей, отделявшими господский замок от двух соседних ферм, в одной из которых жила семья Кульяров, а в другой – Мартены.

От этих тополей и получил свое имя замок. За пределами этого огороженного места расстилалась обширная невозделанная равнина, поросшая диким терновником, где ветер выл и метался день и ночь. Дальше берег сразу обрывался кручей в сто метров высоты, отвесной и белой, купавшей свое подножие в волнах.

Жанна смотрела вдаль, на безбрежную, волнистую водную гладь, которая, казалось, дремала под звездами.

В эти часы отдохновения природы после захода солнца в воздухе разливались все запахи земли. Жасмин, обвивавший окна нижнего этажа, непрестанно струил свой резкий аромат, который смешивался с более легким благоуханием распускаящихся листьев. Медленные дуновения ветра приносили крепкий запах соленого воздуха и липкие испарения морских водорослей.

Девушка, сияющая от счастья, полной грудью вдыхала воздух, и деревенская тишина успокаивала ее, как свежая ванна.

Все животные, просыпающиеся с наступлением вечера и таящие свою безвестную жизнь в тиши ночей, наполняли полутьму безмолвным оживлением. Огромные птицы беззвучно парили в воздухе, как пятна, как тени; жужжание невидимых насекомых едва касалось уха; по росистой траве и по песку пустынных дорог мчались немые погони.

Лишь несколько меланхолических жаб посылали к луне свой короткий и однообразный стон.

Жанне казалось, что сердце ее расширяется, что оно полно неясных звуков, как и этот светлый вечер, что оно вдруг закишело тысячью бродяжнических желаний, как у тех ночных животных, чей шорох ее окружал. Что-то роднило ее с этой живой поэзией; и в мягкой белизне ночи она ощущала нечеловеческий трепет, биение едва уловимых надежд, что-то похожее на дуновение счастья.

И она стала мечтать о любви.

Любовь! Уже два года, как ее приближение наполняло Жанну возраставшею тоскою. Теперь она может любить; теперь ей остается только встретить Его!

Каков он будет? Она не представляла себе этого в точности и даже не спрашивала себя. Это будет Он – вот и все.

Она знала только, что будет обожать его всей душой и что он будет любить ее также всем своим существом. В такие вечера, как этот, они будут гулять под пепельным светом звезд. Они пойдут рука об руку, прижавшись друг к другу, ощущая биение своих сердец, чувствуя теплоту плеч, сплетая свою любовь с нежной ясностью летних ночей, и станут такими близкими, что смогут легко, одной силой своей любви, проникать в самые сокровенные мысли друг друга.

И это будет длиться бесконечно в безмятежности невыразимой любви.

Ей показалось вдруг, что она уже ощущает его здесь, возле себя; смутный трепет чувственности внезапно пробежал по ее телу с головы до ног. Она прижала к груди руки бессознательным движением, словно обнимая свою мечту; на губах, протянутых к неизвестному, она ощутила нечто, заставившее ее почти лишиться чувств, словно дыхание весны запечатлело на них поцелуй любви.

Вдруг она услышала, что кто-то идет там, в ночи, по дороге, позади замка. И в безумном порыве, охваченная страстной верой в невозможное, в чудесные случайности, в божественные предчувствия и романтические пути судьбы, она подумала: «А что, если это он?» Она боязливо прислушивалась к мерным шагам прохожего и была уверена, что он сейчас остановится у решетки и попросит приюта.

Когда он прошел, она почувствовала грусть, точно от разочарования. Но она поняла безрассудство своих надежд и улыбнулась своему безумию.

И вот, несколько успокоившись, она отдалась более разумным мечтаниям, стараясь проникнуть в будущее, строя планы жизни.

Она заживет с ним здесь, в этом тихом замке, над морем. У нее, конечно, будет двое детей – сын для него, а дочь для нее. И она уже видела, как дети бегают по траве между платаном и липой, а отец и мать восхищенно следят за ними, обмениваясь друг с другом над их головами взором, полным страсти.

И долго-долго еще грезилось ей, в то время как луна, заканчивая свой путь по небу, собиралась погрузиться в море. Воздух начал свежеть. Горизонт на востоке бледнел. Пропел петух на ферме справа; другие откликнулись с фермы слева. Их охрипшие голоса, казалось, доносились откуда-то очень издалека сквозь стенки курятника; на громадном своде небес, незаметно побелевшем, стали исчезать звезды.

Где-то раздался птичий крик. В листве послышалось щебетание, сначала робкое; затем оно стало более смелым, переливчатым, радостным и переходило с ветки на ветку, с дерева на дерево.

Вдруг Жанна почувствовала себя залитою светом и, подняв лицо, которое она закрывала руками, зажмурилась, ослепленная блеском зари.

Гора пурпуровых облаков, частью заслоненных старою аллеей тополей, бросала кровавые отблески на пробужденную землю.

И медленно, разрывая сверкающие тучи, обрызгивая огнем деревья, долины, океан, весь горизонт, показался громадный пламенеющий шар.

Жанна почувствовала себя обезумевшей от счастья. Восторженная радость, бесконечное умиление перед величием природы переполнили ее замиравшее сердце. То было ее солнце! Ее заря! Начало ее жизни! Восход ее надежд! Она протянула руки к лучезарному пространству, как бы желая обнять солнце; ей хотелось громко крикнуть что-то вдохновенно-прекрасное, достойное рождения этого дня, но она оставалась недвижимой в бессильном экстазе. Затем, положив голову на руки, она почувствовала, что глаза ее полны слез, и сладко заплакала.

Когда она снова подняла голову, величественная панорама рождающегося дня уже исчезла. Она чувствовала себя умиротворенной, немного усталой и словно озябшей. Не закрывая окна, она легла в постель, вытянулась, помечтала еще несколько минут и заснула так крепко, что не слышала, как в восемь часов ее позвал отец, и проснулась, только когда он вошел в комнату.

Он хотел показать ей отделку замка – ее замка.

Фасад, выходящий внутрь усадьбы, был отделен от дороги широким двором, обсаженным яблонями. Эта проселочная дорога, бежавшая вдоль крестьянских изгородей, соединялась в полулье отсюда с большой дорогой, которая вела из Гавра в Фекан.

От опушки леса к крыльцу шла прямая аллея. Службы, низкие строения из прибрежного камня, крытые соломой, тянулись в ряд по обеим сторонам двора вдоль рвов, отделяющих их от обеих ферм.

Кровля дома была обновлена, вся деревянная отделка восстановлена, стены отремонтированы, комнаты обиты обоями, все внутри вновь окрашено. Новые ставни серебристо-белого цвета и свежая штукатурка сероватого фасада выделялись, как пятна на старинном потемневшем здании.

Другая сторона дома, куда выходило одно из окон Жанны, была обращена к морю, которое виднелось поверх рощи и стены вязов, изглоданных ветром.

Жанна и барон, взявшись под руку, обошли все, не пропустив ни одного уголка; затем они медленно прогулялись по длинным аллеям тополей, окружавшим так называемый парк. Трава уже появилась под деревьями и расстилалась зеленым ковром. Рощица поистине была очаровательна, и ее извилистые дорожки, разделенные изгородями листвы, перекрещивались друг с другом. Внезапно выскочил заяц, испугавший девушку, прыгнул с откоса и удрал в морские тростники, к скалистому обрыву.

После завтрака, ввиду того что г-жа Аделаида еще чувствовала слабость и объявила, что желает отдохнуть, барон предложил Жанне пройтись до Ипора.

Они пустились в путь и миновали сначала деревушку Этуван, прилегавшую к «Тополям». Трое крестьян поклонились им, словно знали их давным-давно.

Затем они углубились в лес, спускавшийся к морю по склону извилистой долины.

Вскоре показалась деревня Ипор. Женщины, чинившие тряпье, сидя на пороге своих жилищ, смотрели им вслед. Покатая улица, с канавой посредине, с кучами отбросов у дверей домов, издавала сильный запах рассола. Темные сети, в которых там и сям виднелись застрявшие блестящие чешуйки, похожие на серебряные монетки, просушивались у дверей лачуг, откуда несся запах жилья скученной в одной комнате большой семьи.

Несколько голубей прогуливались вдоль канавы, отыскивая себе пропитание.

Жанна осматривалась кругом, и все это казалось ей новым и занимательным, как театральная декорация.

Но вдруг, обогнув какую-то стену, она увидела море, темно-синее и гладкое, уходившее вдаль насколько мог видеть глаз.

Они остановились вблизи пляжа и стали смотреть. Паруса, белые, как крылья птиц, плыли по морскому простору. Справа и слева поднимались громадные скалы. С одной стороны нечто вроде мыса преграждало взгляд, а по другую

сторону линия берега уходила в бесконечную даль, пока не превращалась в неуловимый штрих.

В одном из ближайших разрывов этой линии виднелись гавань и домики; мелкие волны, образуя пенистую бахрому моря, с легким шумом прокатывались по гальке.

Лодки местных жителей, вытасченные на откос, усеянный галькой, отдыхали на боку, подставляя солнцу свои круглые щеки, блестящие смолой. Несколько рыбаков готовили их к вечернему приливу.

Подошел матрос, предложивший рыбу, и Жанна купила камбалу, которую ей хотелось самой отнести в «Тополя».

Он предложил также свои услуги для прогулок по морю, повторив несколько раз кряду свое имя, чтобы оно лучше осталось в памяти:

– Лястик, Жозефен Лястик.

Барон обещал не забыть его.

Пошли обратно в замок.

Огромная рыба утомляла Жанну, она продела ей сквозь жабры отцовскую палку, концы которой оба они взяли в руки; болтая, словно дети, они весело поднимались по берегу, с сияющими глазами, обвеваемые ветром, а камбала, все более и более оттягивавшая им руки, тащилась жирным брюхом по траве.

II

Для Жанны началась очаровательная, свободная жизнь. Она читала, мечтала и бродила в полном одиночестве по окрестностям. Медленно шагая, блуждала она по дорогам, вся погружившись в мечты, или же вприпрыжку сбегала в извилистые лощины, оба склона которых были покрыты, словно золотой ризой, руном цветов дикого терновника. Их острый и сладкий запах, особенно сильный

в жару, опьянял ее, как ароматное вино, а отдаленный шум волн прибоя, катившихся по пляжу, убаюкивал ее мысли.

Порою, от ощущения какой-то слабости, она ложилась на густую траву, а когда иной раз на повороте лощины она вдруг замечала в воронке зелени треугольник сверкавшего на солнце голубого моря с парусом на горизонте, ее охватывала необузданная радость, словно от таинственного приближения счастья, реявшего над ней. На лоне этой ласковой и свежей природы, среди спокойных, мягких линий горизонта ее обуяла любовь к одиночеству, и она так подолгу сживала на вершине холмов, что маленькие дикие кролики принимались прыгать у ее ног.

Подгоняемая легким прибрежным ветром, она часто пускалась карабкаться по скалам и вся трепетала от того изысканного наслаждения, что могла двигаться без усталости, как рыбы в воде или ласточки в воздухе.

И как бросают в землю зерна, так она всюду сеяла воспоминания, те воспоминания, корни которых сохраняются до самой смерти. Ей казалось, что в каждый изгиб этих лощинок она бросает частицу своего сердца.

Она с увлечением принялась купаться. Сильная и смелая, Жанна не боялась опасности и уплывала так далеко, что скрывалась из виду. Она превосходно чувствовала себя в холодной прозрачной и голубой воде, которая покачивала ее на волнах. Отплыв от берега, она ложилась на спину, скрещивая на груди руки и устремив взор в глубокую лазурь неба, которую прорезывал быстрый полет ласточки или белый силуэт морской птицы. Кругом не слышалось никакого шума, кроме отдаленного рокота валов, катившихся по гальке, да смутного гула с земли, еще скользившего над поверхностью волн, но неопределенного и почти неуловимого. Затем Жанна перевертывалась и в безумном порыве радости звонко кричала, хлопая по воде руками.

Несколько раз, когда она отваживалась уплывать слишком уж далеко, за ней посылали лодку.

Она возвращалась в замок, побледнев от голода, легкая, резвая, с улыбкой на устах, а глаза ее были полны счастья.

Барон же задумывал большие земледельческие предприятия: он собирался делать опыты, поднять производительность, испробовать новые орудия, акклиматизировать иноземные породы скота; он проводил часть дня в разговорах с крестьянами, которые покачивали головой, относясь недоверчиво к его замыслам.

Часто он отправлялся в море с ипорскими матросами. Когда все гроты, водопады и вершины гор в окрестности были осмотрены, он захотел заняться рыбной ловлей, как простой рыбак.

В ветреные дни, когда сильно надувшийся парус мчит по гребню волн пузатый кузов лодки и когда с каждой ее стороны тянется до самого дна длинная убегающая леса, преследуемая стаями макрели, он держал в дрожащих от волнения руках тонкую веревку, которая тотчас же дергалась, когда попавшаяся на крючок рыба начинала биться.

При свете луны он выезжал снимать расставленные накануне сети. Он любил слышать скрип мачты, любил вдыхать свистящие свежие порывы ночного ветра и, после долгих скитаний в поисках бакенов, находя дорогу по гребню скалы, крыше колокольни или маяку Фекана, испытывал наслаждение, неподвижно сидя под первыми лучами восходящего солнца, от которого сверкали на дне лодки клейкая спина широких веерообразных скатов и жирное брюхо палтуса.

Всякий раз за обедом он с восторгом рассказывал о своих прогулках, а мамочка сообщала ему, сколько раз она прошла по широкой аллее тополей, по аллее направо, выходявшей к ферме Кульяров, потому что в другой аллее было мало солнца.

Так как ей рекомендовали «двигаться», она упорно гуляла. Едва лишь рассеивалась ночная свежесть, она спускалась, опираясь на руку Розали, укутавшись в плащ и две большие шали и надев на голову черный капор, повязанный сверху красным платком.

И вот, волоча левую ногу, которая была тяжелее и оставляла следы по всей дороге – один туда, другой обратно – в виде двух пыльных борозд с вытоптанной травой, она начинала бесконечное странствование по прямой линии от угла замка до первых кустов рощи. На каждом конце этой дорожки она велела поставить по скамье и, останавливаясь через каждые пять минут, говорила

бедной терпеливой служанке, поддерживавшей ее:

- Присядем-ка, милая, я немного устала.

И при каждой остановке она оставляла на скамье то вязаный платок, который покрывал ей голову, то одну шаль, то другую, то капор, то плащ; из всего этого на обоих концах аллеи образовывались две большие кучи одежды, которые Розали уносила на свободной руке, когда возвращались к завтраку.

После полудня баронесса возобновляла прогулку, но уже более расслабленной походкой, с более длительными передышками; иногда она даже спала часок-другой на шезлонге, который выкатывали для нее из дома.

Она называла это: «мои упражнения», так же как говорила: «моя гипертрофия».

Один доктор, к которому она десять лет тому назад обратилась за советом, потому что страдала удушьем, сказал, что у нее гипертрофия сердца. С тех пор это слово, смысл которого ей был не совсем понятен, засело в ее голове. Она настойчиво заставляла барона, Жанну и Розали выслушивать свое сердце, услышать которое никто не мог, до того глубоко было оно погребено под толщиной ее груди; но она решительно отказывалась подвергнуться осмотру нового врача из боязни, чтобы он не открыл в ней еще других болезней; она говорила о «своей» гипертрофии при каждом случае и так часто, словно этот недуг был свойствен только ей одной, принадлежал ей как единственная в своем роде вещь, на которую никто больше не имел никакого права.

Барон говорил: «гипертрофия моей жены», а Жанна: «мамина гипертрофия», как сказали бы: «платье», «шляпа» или «зонтик».

В молодости она была очень хорошенькая и тонкая как тростинка.

Провальсировав некоторое время в объятиях всех мундиров Империи, она прочла «Коринну», которая заставила ее плакать, и этот роман оставил на ней своеобразный отпечаток.

По мере того как грузнел ее стан, порывы ее души становились все поэтичнее, а когда непомерная тучность приковала ее к креслу, мысль ее уносилась к нежным приключениям, героиней которых она воображала себя. У нее были свои излюбленные истории, к которым она часто возвращалась в мечтах, подобно

тому, как заведенная шарманка бесконечно повторяет одну и ту же арию. Все томные романсы, в которых говорится о пленницах и ласточках, неизменно увлажняли ее ресницы; она любила даже некоторые гривуазные песенки Беранже из-за тех сожалений о минувшем, которые в них высказаны.

Часто она оставалась неподвижной по целым часам, уйдя в мечты; пребывание в «Тополях» ей бесконечно нравилось, так как давало декорацию для ее воображаемых романов: леса, пустынная ланда и близость моря напоминали ей романы Вальтера Скотта, которые она читала уже несколько месяцев.

В дождливые дни она не выходила из своей комнаты и пересматривала то, что называла своими «реликвиями». Это были старые письма, переписка ее родителей, письма барона, когда она была его невестой, и еще другие.

Она хранила их в секретере красного дерева с медными сфинксами по углам и говорила с особенной интонацией:

– Розали, деточка, принеси мне ящик воспоминаний.

Молоденькая служанка отпирала секретер, вынимала ящик и ставила его на стул возле госпожи, которая принималась медленно, одно за другим читать эти письма, время от времени роняя на них слезу.

Иногда Жанна заменяла Розали и гуляла с мамочкой, которая рассказывала ей воспоминания своего детства. В этих историях из далекого прошлого девушка узнавала себя, удивляясь сходству их мыслей и родству желаний; ведь каждое сердце воображает, что оно впервые бьется под наплывом тех ощущений, которые заставляли уже биться сердца первых людей и заставят еще трепетать сердца последних мужчин и последних женщин.

Их медленные шаги соответствовали медлительности рассказа, изредка на несколько секунд прерываемого одышкой; тогда мысль Жанны, минуя начатые приключения, уносилась в будущее, населенное радостями, и отдавалась надеждам.

Однажды после полудня, отдыхая на скамье, они заметили вдруг на другом конце аллеи толстого священника, который шел к ним.

Он раскланялся издали, улыбаясь, а когда был уже в трех шагах от них, снова поклонился и воскликнул:

– Ну, баронесса, как мы поживаем?

Это был местный кюре.

Мамочка родилась в век философов и была воспитана в дни Революции отцом, равнодушно относившимся к вере, она почти не бывала в церкви, хотя любила священников в силу какого-то религиозного инстинкта, свойственного женщинам.

Баронесса совершенно забыла аббата Пико, своего кюре, и при виде его покраснела. Она извинилась, что не возобновила знакомства первая. Но старик не казался обиженным: он взглянул на Жанну, сделал комплимент ее цветущему виду, уселся, положил треуголку на колени и отер лоб. Он был очень толст, очень красен, и пот лил с него ручьями. Ежеминутно вытаскивал он из кармана громадный клетчатый платок, пропитанный потом, и проводил им по лицу и по шее; но не успевал влажный платок скрыться в недрах его черной одежды, как новые капли опять выступали на коже и, падая на сутану, вздувшуюся на животе, отмечали круглыми пятнышками приставшую дорожную пыль.

То был настоящий деревенский священник, веселый, терпимый, болтливый и добродушный. Он рассказал несколько историй, поговорил о местных жителях и сделал вид, будто не заметил, что его две прихожанки еще не удосужились посетить службу: причиной этого была лень, недостаток веры баронессы и слишком большая радость Жанны, избавившейся от монастыря, где ее чересчур пресытили благочестивыми обрядами.

Появился барон. Он придерживался пантеистических воззрений и был совершенно равнодушен к религиозной догме. Он любезно отнесся к аббату, с которым был слегка знаком, и оставил его обедать.

Священник умел нравиться благодаря той бессознательной хитрости, которая развивается от постоянного общения с человеческими душами даже у самых посредственных натур, призванных стечением обстоятельств властвовать над себе подобными.

Баронесса была с ним ласкова, и, быть может, ее влекло к нему родство, сближающее сходные натуры: ей, тучной и прерывисто дышащей, нравились красное лицо и одышка толстяка.

Во время десерта он одушевился, как и полагалось подвыпившему за пирушкой кюре, и приобрел непринужденность, свойственную концу веселых обедов.

И вдруг он воскликнул, точно осененный счастливой идеей:

– А ведь у меня есть новый прихожанин, которого надо вам представить, – виконт де Лямар!

Баронесса, знавшая как свои пять пальцев весь провинциальный гербовник, спросила:

– Он не из семьи де Лямар де л'Эр?

Священник поклонился:

– Да, сударыня; он сын виконта Жана де Лямара, умершего в прошлом году.

Г-жа Аделаида, любившая дворянство больше всего на свете, засыпала священника вопросами и узнала, что после уплаты отцовских долгов и по продаже фамильного замка молодой человек обосновался на одной из трех ферм, которыми он владел в коммуне Этуван. Эти владения приносили всего-навсего от пяти до шести тысяч ливров дохода, но виконт, человек благоразумный и экономный, рассчитывал скромно прожить два-три года в этом простом убежище и скопить немного денег, чтобы получить возможность бывать в свете и выгодно жениться, не делая долгов и не закладывая своих ферм.

Кюре прибавил:

– Это очаровательный молодой человек; такой порядочный, такой тихий. Но не слишком-то ему весело в деревне.

– Так приводите его к нам, господин аббат, – сказал барон, – время от времени это сможет его развлечь.

И заговорили о другом.

Когда после кофе все перешли в гостиную, священник попросил позволения пройтись по саду, так как привык совершать легкий моцион после еды. Барон сопровождал его. Они медленно прогуливались взад и вперед вдоль белого фасада замка. Их тени, одна худая, другая шарообразная, с грибом на голове, тянулись то спереди, то сзади них, смотря по тому, шли ли они лицом к луне или поворачивались к ней спиной. Кюре посасывал что-то вроде папироски, которую достал из кармана. Он объяснил ее назначение с откровенностью деревенского жителя:

- Это чтобы вызвать отрыжку, а то у меня довольно скверное пищеварение.

Затем вдруг, взглянув на небо, по которому совершало свой путь ясное светило, он произнес:

- Вот зрелище, на которое никогда не наскучит смотреть.

И вернулся попрощаться с дамами.

III

Из деликатной почтительности к своему кюре баронесса и Жанна отправились на мессу в следующее воскресенье.

Они подождали его после службы, чтобы пригласить в четверг к завтраку. Он вышел из ризницы с высоким элегантным молодым человеком, который дружески держал его под руку. Заметив женщин, священник с приятным изумлением воскликнул:

- Как это кстати! Прошу у вас позволения, баронесса и мадемуазель Жанна, представить вам вашего соседа, виконта де Лямара.

Виконт поклонился, сказал, что он уже давно мечтает об этом знакомстве, и завязал разговор с легкостью бывалого и благовоспитанного человека. У него была та счастливая внешность, о которой грезят женщины, но которая противна любому мужчине. Черные вьющиеся волосы обрамляли гладкий смуглый лоб; большие, правильные, точно искусственно выведенные брови придавали глубину и нежность его темным глазам, белки которых казались слегка голубоватыми.

Благодаря густым и длинным ресницам его взгляд приобретал ту страстную выразительность, которая вызывает волнение в высокомерной салонной красавице и заставляет оборачиваться на улице девушку в чепце, которая несет корзину.

Томная прелесть его взгляда заставляла верить в глубину его мысли и придавала значительность самым ничтожным его словам.

Густая борода, блестящая и выхоленная, скрывала чересчур развитую нижнюю челюсть.

Обменявшись любезностями, они расстались.

Два дня спустя г-н де Лямар сделал первый визит.

Он появился как раз в ту минуту, когда осматривали садовую скамейку, поставленную в это утро под платаном, против окон зала. Барон хотел поставить еще другую напротив, под липой, но мамочка, враг симметрии, не желала этого. Виконт, мнение которого пожелали узнать, согласился с баронессой.

Затем он заговорил об этом крае и находил его очень «живописным», так как во время своих одиноких прогулок встречал много очаровательных «уголков». Время от времени его глаза, словно нечаянно, встречались с глазами Жанны, и она испытывала странное ощущение от этого внезапного, быстрого взгляда, в котором светились ласковое восхищение и пробуждающаяся симпатия.

Г-н де Лямар – отец, умерший год тому назад, был знаком с близким другом г-на де Кюльто, мамочкиного отца; открытие этого знакомства дало повод для бесконечной беседы о браках, датах и родственных отношениях. Баронесса обнаруживала чудеса памяти, устанавливая восходящие и нисходящие линии других семей и прогуливаясь без малейшего затруднения по сложному

лабиринту генеалогии.

– Скажите, виконт, вы не слыхали о семье Сонуа де Варфлёр? Их старший сын, Гонтран, женился на мадемуазель де Курсиль, из рода Курсиль-Курвиль, а младший – на одной из моих кузин, мадемуазель де Ля Рош-Обер, доводившейся родственницей Кризанжам. Ну, так вот господин де Кризанж был близким другом моего отца и, следовательно, должен был знать вашего отца.

– Да, сударыня. Ведь это тот самый господин де Кризанж, который эмигрировал и сын которого разорился?

– Он самый. Он сделал предложение моей тетке после смерти ее мужа, графа д'Эретри; но она не согласилась выйти за него, потому что он нюхал табак. Не знаете ли вы, кстати, что случилось с Вилузами? Около 1813 года, вскоре после своего разорения, они покинули Турень, чтобы обосноваться в Оверни, и с тех пор я о них ничего больше не слыхала.

– Насколько я помню, сударыня, старый маркиз умер от падения с лошади; одна его дочь замужем за каким-то англичанином, а другая за неким Бассолем, коммерсантом, – как говорили, богатым, который ее обольстил.

Всплывали имена, знакомые и сохранившиеся в памяти с детства из разговоров старых родственников. Браки в этих семьях, одинаково родовитых, принимали в умах собеседников значение крупных общественных событий. Они говорили о людях, которых никогда не видали, словно о хороших знакомых, а те люди, жившие в других краях, говорили о них так же; все они издали чувствовали себя близкими, почти друзьями, даже родственниками, благодаря только тому обстоятельству, что принадлежали к одному классу, к одной касте, к одной и той же благородной крови.

Барон, порядочный дикарь от природы и вдобавок получивший воспитание, не имевшее ничего общего с верованиями и предрассудками людей его круга, почти не знал окрестных дворянских семей и спросил о них виконта.

– О, в наших местах живет мало знати, – отвечал г-н де Лямар таким тоном, словно заявлял, что на склонах холмов водится мало кроликов. И он сообщил подробности. Всего три семьи жили в более или менее близком соседстве: маркиз де Кутелье, нечто вроде главы нормандской аристократии; виконт де

Бризвиль с супругой, люди безупречного рода, но державшиеся особняком; наконец, граф де Фурвиль, какое-то пугало: по слухам, он доводил свою жену до отчаяния, слыл завзятым охотником; они жили в своем замке де ла Врильет, выстроенном на берегу пруда.

Несколько выскочек, пролезших в их общество, купили себе кое-где по соседству поместья. Но виконт не водил с ними знакомства.

Наконец он простился, и его последний взгляд был обращен к Жанне, словно он посылал ей особое, более сердечное и нежное прости.

Баронесса нашла его очаровательным, а главное – вполне светским человеком. Папочка отвечал:

– Да, конечно, молодой человек прекрасно воспитан.

Его пригласили на следующей неделе к обеду. С тех пор он стал бывать постоянно.

Всего чаще он приезжал к четырем часам дня, присоединялся к мамочке в «ее аллее» и предлагал ей руку, чтобы помочь ей «совершать моцион». Когда Жанна бывала дома, она поддерживала баронессу с другой стороны, и все трое медленно и непрестанно прохаживались взад и вперед по прямой аллее из конца в конец. Он совсем не разговаривал с Жанной. Но его глаза, казавшиеся бархатно-черными, часто встречались с ее глазами, похожими на голубой агат.

Несколько раз молодые люди отправлялись в Ипор с бароном.

Однажды вечером, когда они были на пляже, к ним подошел дядя Лястик; не выпуская изо рта трубки, отсутствие которой изумило бы всех, может быть, даже больше, чем исчезновение его носа, он промолвил:

– По такому ветру, господин барон, одно удовольствие было бы завтра утром проехаться в Этрета и обратно.

Жанна сложила руки:

– О, папа, согласись!

Барон обернулся к г-ну де Лямар:

– Что вы думаете об этом, виконт? Мы могли бы поехать туда завтракать.

И прогулка была тотчас же решена.

С зарей Жанна была на ногах. Ей пришлось подождать отца, который одевался не так проворно; они отправились по росе и пересекли сначала поле, а потом лес, весь звеневший птичьими голосами. Виконт и дядя Лястик сидели на кабестане.

Два других моряка помогали им при отъезде. Мужчины, упираясь плечами в борта лодки, толкали ее изо всех сил. Она с трудом подвигалась по гладкой поверхности, усеянной галькой. Лястик подкладывал под киль деревянные катки, смазанные салом, потом, становясь на свое место, протяжно выводил бесконечное: «Оге-гоп!» – для согласования общих усилий.

Но когда добрались до склона, лодка двинулась сразу и скользнула по круглым камням с треском разрываемого холста. Она остановилась вблизи пены, образуемой мелкими волнами; все заняли места на скамьях; затем два матроса, оставшиеся на берегу, спустили лодку на воду.

Легкий и непрестанный ветер с открытого моря касался поверхности воды и рябил ее. Парус был поднят, слегка надулся, и лодка спокойно поплыла, чуть покачиваясь на волнах.

Сначала удалились от берега. Небо, нисходя на горизонте, сливалось с океаном. Со стороны земли высокая отвесная скала отбрасывала длинную тень у своего подножия, а ее склоны, поросшие травой, местами были ярко освещены солнцем. Там, позади, из-за белого мола Фекана виднелись темные паруса, а впереди поднималась скала необыкновенного вида, круглая и со сквозным отверстием; она напоминала собою фигуру громадного слона, погрузившего хобот в волны. То были малые ворота Этрета.

Жанна, у которой от качки слегка кружилась голова, глядела вдаль, держась руками за борт лодки, и ей казалось, что во всем мире существует только три истинно прекрасных вещи: свет, простор и вода.

Никто не говорил. Дядя Лястик, управляя рулем и шкотом, время от времени потягивал из бутылки, спрятанной под его скамьей, и без усталости курил огрызок трубки, казавшейся неугасимой. Из нее постоянно выходила тонкая струйка синего дыма, между тем как другая такая же струя сочилась из угла его рта. Никто и никогда не видел, чтобы матрос набивал табак или разжигал эту свою глиняную печурку, которая была чернее черного дерева. Иногда он вынимал ее изо рта, сплевывая в море тем самым углом губ, из которого выходил дым, длинную струю темной слюны.

Барон сидел впереди и следил за парусами, заменяя матроса. Жанна и виконт помещались рядом, оба немного смущенные. Неведомая сила заставляла встречаться их глаза, поднимавшиеся одновременно, словно по приказу какой-то родственной воли; между ними уже возникала та тонкая и неопределенная нежность, которая быстро образуется между молодыми людьми, когда юноша не безобразен, а девушка красива. Они чувствовали себя счастливыми друг возле друга, потому, быть может, что думали один о другом.

Солнце поднималось, словно для того, чтобы полюбоваться с высоты огромным морем, которое раскинулось внизу и, как бы кокетничая, подернулось легкой дымкой и закрылось от его лучей. Это был прозрачный, низко нависший золотистый туман, который не скрывал ничего, но смягчал даль. Солнце метало свои лучи, растопляя ими это блестящее облако, и, когда оно поднялось во всей силе, мгла рассеялась, исчезла, а море, гладкое как зеркало, заблестало в сиянии дня.

Взволнованная Жанна прошептала:

– Как красиво!

Виконт ответил:

– О да, очень красиво!

Ясная прозрачность этого утра словно пробуждала эхо в их сердцах.

Вдруг показалась большая аркада Этрета, похожая на две ноги громадной скалы, шагающие по морю и настолько высокие, чтобы служить аркой для кораблей; верх белой остроконечной скалы возвышался перед нею.

Причалили; пока барон, сошедши первым, удерживал лодку у берега, притягивая ее к себе за веревку, виконт взял на руки Жанну, чтобы перенести ее на землю, не дав ей замочить ног; затем они стали рядом на твердую, покрытую галькой отмель, еще взволнованные минутным объятием, и вдруг услышали, как дядя Лястик говорил барону:

– Вот была бы хорошая парочка.

Завтрак в маленькой гостинице, вблизи пляжа, был восхитителен. Океан, заглушая голоса и мысли, делал всех молчаливыми; но после завтрака они стали болтать, словно школьники на каникулах.

Самые простые вещи бесконечно веселили их.

Дядюшка Лястик, садясь за стол, бережно спрятал в свой берет еще дымившуюся трубку; все засмеялись. Муха, привлеченная, без сомнения, его красным носом, несколько раз усаживалась на него; когда он сгонял ее взмахом руки, слишком неповоротливой, чтобы поймать насекомое, муха перелетала на кисейную занавеску, уже засиженную множеством ее сородичей, и, по-видимому, жадно сторожила румяный нос матроса, потому что немного погодя садилась на него снова.

При каждом полете насекомого раздавался неистовый хохот, а когда старик, которому надоело это щекотание, проворчал: «Она таки чертовски упряма», – Жанна и виконт уже чуть не плакали от смеха, извиваясь, задыхаясь, зажимая салфетками рот, чтобы не кричать.

Когда кончили кофе, Жанна сказала:

– Хорошо бы пройтись.

Виконт встал, но барон предпочел понежиться под солнцем на камушках.

– Ступайте, дети; через час я буду здесь.

Они миновали по прямой линии ряд домиков и, пройдя мимо маленького замка, походившего скорее на большую ферму, вышли в открытое поле, расстилавшееся перед ними.

Морская качка обессилила их, нарушив привычное равновесие; резкий соленый воздух возбудил аппетит, завтрак опьянил, а веселье разволновало. Они были теперь в несколько взбалмошном настроении, и им хотелось, ни о чем не думая, бегать по полям. У Жанны шумело в ушах: она была возбуждена новыми нахлынувшими на нее ощущениями.

Палящее солнце изливало на них свои лучи. По обе стороны дороги клонились к земле спелые хлеба, поникшие от жары. Бесчисленные, как стебли трав, неумолчно заливались кузнечики, и повсюду – в хлебах, в овсе, в морских тростниках раздавался их сухой и оглушительный треск.

Никаких других звуков не было слышно под раскаленным небом, сверкающая лазурь которого отсвечивала желтизной, точно собираясь внезапно покраснеть, подобно металлу, брошенному в огонь.

Заметив вдали, направо, лесок, они пошли к нему.

Под высокими, непроницаемыми для солнца деревьями вилась узкая аллея, стиснутая двумя откосами. При входе в нее на них пахло свежестью плесени, той сыростью, которая вызывает ощущение озноба и проникает в легкие. Трава здесь давно исчезла, так как ей не хватало света и воздуха; почву прикрывал только мох.

Они пошли вперед.

– Здесь мы можем немного посидеть, – сказала она.

В этом месте стояли два старых сухих дерева, и, пользуясь просветом в листве, сюда падал поток света, согревая землю, пробуждая к жизни семена травы, одуванчиков и повилики, помогая распуститься маленьким белым цветочкам, нежным, как пыльца, и наперстянке, похожей на пряжу. Бабочки, пчелы,

приземистые шершни, огромные комары, походившие на скелеты мух, тысячи летающих насекомых, розоватые, с пятнышками, божьи коровки, бронзовые жучки с зелеными отливами или черные рогачи населяли этот светлый и жаркий колодец, вырытый в холодном сумраке густой листвы.

Они уселись; их головы были в тени, а ноги на солнце. Они смотрели на всю эту кишашую ничтожно-мелкую жизнь, вызванную на свет всего одним солнечным лучом; растроганная Жанна повторяла:

– Как чудесно! Как хорошо в деревне! Бывают минуты, когда я хотела бы быть мухой или бабочкой, чтобы спрятаться в цветах.

Они рассказывали друг другу о себе, о своих привычках, вкусах тем пониженным, задушевым тоном, каким делаются признания. Он говорил, что чувствует отвращение к свету и устал от его пустой жизни; там всегда одно и то же; никогда не встретишь ничего правдивого, ничего искреннего.

Свет! Ей очень хотелось бы узнать, что это такое; но она была убеждена заранее, что он не стоит деревни.

Чем больше сближались их сердца, чем чаще они церемонно называли друг друга «мосье» и «мадемуазель», тем больше улыбались друг другу, сливались их взгляды; им казалось, что в них проникает какое-то новое чувство доброты, какая-то бьющая через край симпатия и интерес к тысяче мелочей, о которых они никогда не заботились.

Они вернулись; но барон отправился пешком до «Девичьей комнаты» – грота, находящегося на гребне скалы, и они стали поджидать его в гостинице.

Он явился только к пяти часам вечера, после долгой прогулки по берегу моря.

Снова сели в лодку. Она неслышно отплывала по ветру, без малейшей качки, как будто вовсе не двигаясь. Ветер набегал тихими и теплыми дуновениями, которые на секунду надували парус, бессильно падавший затем вдоль мачты. Непроницаемая водная гладь казалась мертвой; солнце, истощив весь свой жар и завершая круг, тихо приближалось к морю.

Дремота моря снова заставила всех притихнуть.

Наконец Жанна сказала:

– Как бы хотелось мне путешествовать!

Виконт возразил:

– Да, но путешествовать одной грустно, надо быть по меньшей мере вдвоем, чтобы было с кем делиться впечатлениями.

Она задумалась.

– Это правда... однако я люблю гулять в одиночестве... так хорошо мечтать одной...

Он поглядел на нее долгим взглядом:

– Можно мечтать и вдвоем.

Она опустила глаза. Был ли это намек? Может быть. Она внимательно рассматривала горизонт, словно желая заглянуть еще дальше, а затем медленно произнесла:

– Я бы хотела поехать в Италию... и в Грецию... о да, в Грецию... и на Корсику!.. Это, должно быть, так дико и так прекрасно!

Он предпочитал Швейцарию – за ее горные хижины и озера.

Она говорила:

– Нет, я люблю совсем новые страны, как Корсика, или уж очень старые, полные воспоминаний о прошлом, как Греция. Так приятно отыскивать следы народов, историю которых мы знаем с детства, и видеть места, где происходили великие события.

Виконт, менее восторженный, объявил:

– А меня сильно привлекает Англия: это чрезвычайно поучительная страна.

И тут они перебрали всю вселенную, обсуждая прелести каждой страны, от полюса до экватора, восхищаясь воображаемыми пейзажами и необычными нравами некоторых народов, вроде китайцев или лапландцев, но в конце концов все же пришли к заключению, что лучшей страной в мире является Франция, благодаря ее умеренному климату, прохладному лету и мягкой зиме, ее роскошным полям, зеленым лесам, большим спокойным рекам и благодаря тому культу искусства, которого больше не существовало нигде со времен великого века Афин.

Затем они смолкли.

Солнце, спустившись ниже, казалось кровавым; широкий светлый след, ослепительная дорога бежала по воде от края океана до струи за кормой лодки.

Последние дуновения ветра замерли, рябь исчезла, и неподвижный парус стал багровым. Пространство, казалось, оцепенело в беспредельном покое, словно стихнув при виде этой встречи двух стихий; выгибая под небом свое сверкавшее текучее лоно, море, как гигантская возлюбленная, ожидало огненного любовника, опускавшегося к ней. Он ускорял свое падение, рдея пурпуром, как бы в жажде объятий. Наконец он соединился с ней, и мало-помалу она его поглотила.

Тогда с горизонта повеяло свежестью; легкий трепет тронул подвижное водное лоно, точно поглощенное светило посылало миру вздох успокоения.

Сумерки были коротки, быстро распростерлась ночь, усеянная звездами. Дядя Лястик взялся за весла, и тут заметили, что море засветилось фосфорическим светом. Жанна и виконт, сидя рядом, смотрели на этот мерцающий свет, который лодка оставляла позади себя. Они почти ни о чем больше не думали, отдавшись рассеянному созерцанию, вдыхая тишину вечера в блаженном удовлетворении. Рука Жанны опиралась о скамейку, и палец соседа как бы случайно коснулся ее пальцев; она не смела двинуться, изумленная, счастливая и смущенная этим легким прикосновением.

Войдя вечером в свою комнату, она почувствовала себя странно взволнованной и настолько растроганной, что все вызывало в ней желание плакать. Взглянув на часы, она подумала, что пчелка бьется, как сердце, как сердце друга, что она будет свидетелем всей ее жизни, что все радости и горести ее будут сопровождаться этим проворным и размеренным тиканьем; и она остановила золотую пчелку, чтобы поцеловать ее крылышки. Она готова была расцеловать весь мир. Ей вспомнилось, что в глубине одного из ящиков комода спрятана ее старая кукла; она отыскала ее, обрадовалась, словно вновь обрела обожаемого друга, и, прижимая игрушку к груди, осыпала жаркими поцелуями ее крашенные щечки и взбитые кудри.

И, не выпуская ее из рук, задумалась.

Неужели это он, супруг, обещанный ей тысячью тайных голосов, ниспосланный на ее пути всеблагим провидением? Не то ли он существо, созданное для нее, которому она посвятит всю свою жизнь? Не те ли они избранники, нежность которых должна соединить их друг с другом, слить неразрывно и породить любовь?

Она вовсе еще не ощущала тех бурных порывов всего существа, тех безумных восторгов, тех величайших подъемов, которые считала присущими страсти; но ей казалось все-таки, что она начинает любить его, потому что порою она вся замирала, думая о нем, – а думала она о нем постоянно. Его присутствие волновало ей сердце: она то краснела, то бледнела, встречая его взгляд, замирала в трепете, услышав его голос.

Она очень мало спала в эту ночь.

С этих пор волнующее желание любви захватывало ее изо дня в день все более и более. Она постоянно спрашивала себя об этом, гадала по полевым маргариткам, облакам, монеткам, подброшенным кверху.

Однажды вечером отец сказал ей:

– Принарядись завтра получше.

Она спросила:

– Зачем, папа?

Он ответил:

– Секрет.

На следующее утро, когда она сошла вниз, сияя свежестью, в светлом платье, то увидела на столе в гостиной коробки с конфетами, на стуле громадный букет.

Во двор въехала повозка. На ней была надпись: «Лера, кондитер в Фекане. Свадебные обеды». Людивина с помощью поваренка вытаскивала сквозь открытые задние дверцы тележки большие плоские корзины, от которых шел приятный запах.

Явился виконт де Лямар. На нем были брюки в обтяжку и изящные лакированные сапоги, облегавшие его маленькую ногу. Вырез на груди длинного сюртука, стянутого в талии, открывал кружево жабо. Изящный галстук, несколько раз обернутый вокруг шеи, заставлял его высоко и с оттенком благовоспитанной серьезности держать свою прекрасную темноволосую голову. У него был другой вид, чем обычно, тот особый вид, который парадная одежда неожиданно придает даже хорошо знакомым лицам. Жанна смотрела на него в изумлении, точно никогда его не видала; она находила его совершенным джентльменом, вельможей с головы до ног.

Он с улыбкой поклонился:

– Итак, кума, вы готовы?

Она пролепетала:

– В чем дело? Что случилось?

– Сейчас узнаешь, – сказал барон.

Подъехала запряженная коляска; г-жа Аделаида спустилась из своей комнаты в парадном платье, поддерживаемая Розали, которая, казалось, была так поражена изяществом г-на де Лямара, что папочка сказал вполголоса:

– Знаете, виконт, вы, кажется, пришли по вкусу нашей служанке.

Он покраснел до ушей, сделал вид, что не слышит, и, схватив большой букет, поднес его Жанне. Она взяла его, недоумевая все больше и больше. Они уселись вчетвером в коляску, и кухарка Людивина, принеся баронессе для подкрепления холодный бульон, сказала:

– Право, сударыня, подумаешь, что свадьба.

Доехав до Ипора, они пошли пешком, и, пока проходили по деревне, матросы в новых куртках, на которых еще были видны складки, появлялись из своих домиков, кланялись, жали барону руку и присоединялись к ним, словно следуя за процессией.

Виконт предложил руку Жанне и шел с нею впереди.

Подойдя к церкви, все остановились; появился большой серебряный крест, который нес мальчик из хора, стараясь держать его прямо; за ним шел другой мальчик, в красной с белым одежде, держа в руках сосуд со святой водой и кропилом.

Затем вышли трое старых певчих, один из которых хромал, за ним музыкант с серпентом и, наконец, кюре в золотой, скрещивающейся вверху епитрахили, вздувавшейся над его огромным животом. Он поздоровался улыбкой и кивком головы; затем, полузакрыв глаза, молитвенно зашевелил губами и, надвинув свою шапочку на самый нос, проследовал к морю со своим штабом, облаченным в стихари.

На пляже ожидала толпа, собравшаяся вокруг новой лодки, увитой гирляндами цветов. Ее мачта, парус и снасти были убраны длинными лентами, развевающимися по ветру, а на корме золотыми буквами было выведено название: «Жанна».

Дядя Лястик, хозяин лодки, построенной на средства барона, двинулся навстречу шествию. Все мужчины одновременно обнажили головы, а ряд богомолков в широких черных платках, ниспадавших на плечи крупными складками, опустил полукругом на колени при виде креста.

Кюре с двумя мальчиками по бокам прошел к одному концу лодки, а у другого конца трое старых певчих в белой одежде, но неопрятных и небритых, устремив глаза в сборник церковных песен, торжественно зафальшивили во всю глотку в ясном утреннем воздухе.

Каждый раз, когда они переводили дыхание, только тот, что играл на серпенте, продолжал свой рев, причем его серые глазки совсем исчезали между раздувавшихся щек. Он так надсаживался, что, казалось, кожа у него на шее и даже на лбу отставала от мяса.

Неподвижное прозрачное море как будто тоже сосредоточенно участвовало в крещении лодки и лишь медленно катило мелкие волны с легким шумом грабель, скребущих по камням. Большие белые чайки, расправив крылья, пролетали, описывали кривую линию в голубом небе, удалялись и снова возвращались плавным полетом над коленопреклоненной толпой, словно желая посмотреть, что такое здесь происходит.

Но вот после «аминь», которое завывали в течение пяти минут, пение закончилось, и священник глухим голосом прокудахтал несколько латинских слов, где можно было различить лишь звучные окончания.

Затем он медленно обошел вокруг лодки, кропя ее святой водой, потом снова забормотал молитвы, остановившись у борта лодки напротив крестного отца и крестной матери, которые стояли неподвижно, держась за руки.

Красивое лицо молодого человека было по-прежнему торжественно, но девушка, задыхаясь от внезапного волнения, почти теряя сознание, стала так дрожать, что зубы ее стучали. Мечта, которая преследовала ее неотвязно с некоторого времени, вдруг, точно в какой-то галлюцинации, начинала приобретать видимость реального. Говорили о свадьбе, присутствовал дававший благословение священник, люди в стихарях гнусавили молитвы; уж не ее ли это венчают?

Трепетали ли в нервной дрожи ее пальцы? Передалось ли по ее жилам сердцу соседа то наваждение, под властью которого находилось ее сердце? Понял ли он, угадал ли, был ли так же, как она, охвачен опьянением любви? Или же он уже по опыту знал, что ни одна женщина не устоит перед ним? Она заметила вдруг, что он сжимает ее руку, сначала легко, потом все сильнее, сильнее, чуть

не ломая ее. И, не меняясь в лице, так что никто ничего не заметил, он сказал, да, конечно, он сказал ей очень отчетливо:

– О, Жанна, если бы вы захотели, это было бы нашим обручением!

Она опустила голову замедленным движением, которое могло означать «да». Священник, все еще кропивший святой водой, брызнул им на пальцы несколько капель.

Церемония окончилась. Женщины поднялись. Возвращались в беспорядке. Крест, который нес мальчик из хора, утратил величавость; он двигался быстро, качаясь вправо и влево, то наклоняясь вперед, то едва не падая на несущего. Кюре, больше уже не молившийся, торопливо бежал сзади; певчие и музыкант с серпентом исчезли в каком-то переулке, чтобы поскорее переодеться, а матросы спешили, разбившись на группы. Одна и та же мысль, наполнявшая их головы как бы ароматом кухни, удлиняла их шаг, возбуждала аппетит и проникала до самого живота, вызывая в кишках целые рулады.

В «Тополях» их ожидал хороший завтрак.

На дворе, под яблонями, был накрыт большой стол. Шестьдесят человек уселись за ним: моряки и крестьяне. В центре сидела баронесса с двумя кюре по сторонам – из Ипора и из «Тополей». Барон, напротив нее, был зажат между мэром и его женой, сухопарой, уже пожилой деревенской жительницей, рассылавшей во все стороны множество поклонов. У нее было узкое лицо, стиснутое громадным нормандским чепцом, – настоящая голова курицы с белым хохлом и совершенно круглыми, вечно изумленными глазами; она глотала маленькими быстрыми глотками, словно клевала носом тарелку.

Жанна, рядом с крестным отцом, утопала в блаженстве. Она ничего больше не видела, ничего не понимала и сидела молча; ее голова была отуманена радостью.

Она спросила у него:

– Как ваше имя?

Он сказал:

– Жюльен. Разве вы не знали?

Она ничего не ответила, подумав: «Как часто буду я повторять это имя!»

Когда завтрак был окончен, двор предоставили матросам и перешли на другую сторону замка. Баронесса начала свой «моцион», опираясь на руку барона и в сопровождении обоих священников. Жанна и Жюльен пошли в рощу по узким заросшим тропинкам. Вдруг он схватил ее руки:

– Скажите, хотите быть моей женой?

Она снова опустила голову; и так как он продолжал лепетать: «Отвечайте, умоляю вас!», – она медленно подняла на него глаза, и он прочел ответ в ее взгляде.

IV

Однажды утром барон вошел в комнату Жанны, когда она еще не вставала, и сказал, садясь в ногах ее кровати:

– Виконт де Лямар просит твоей руки.

Ей захотелось спрятать лицо в простыни.

Отец продолжал:

– Мы пока отложили ответ.

Она задыхалась; волнение душило ее. Минуту спустя барон добавил, улыбаясь:

– Мы не хотели ничего предпринимать, не поговорив с тобой. Мы с мамой не против этого брака, но и не хотим принуждать тебя. Ты гораздо богаче его, но,

когда дело идет о счастье жизни, не следует думать о деньгах. У него нет родных; если ты выйдешь за него, он войдет в нашу семью как сын, тогда как с другим тебе самой, нашей дочери, придется войти в чужую семью. Он нравится нам. Нравится ли он... тебе?

Она прошептала, покраснев до корней волос:

– Я согласна, папа.

Папочка, внимательно заглянув ей в глаза и все еще смеясь, пробурчал:

– Я в этом почти не сомневался, мадемуазель.

Она жила до вечера, словно в каком-то опьянении, не сознавая, что делает, машинально брала одни предметы вместо других, и ноги ее совсем ослабели от усталости, хотя она никуда не ходила.

Около шести часов, когда она сидела с мамочкой под платаном, явился виконт.

Сердце Жанны бешено забилося. Молодой человек подходил к ним, не обнаруживая никакого волнения. Приблизившись, он взял пальцы баронессы и поцеловал их, затем приподнял дрожащую руку девушки и прильнул к ней долгим, нежным и признательным поцелуем.

Наступило радостное время помолвки. Они беседовали одни в уголках гостиной или сидя в глубине рощи, на пригорке, перед пустынной ландой. Иногда они прогуливались по мамочкиной аллее, причем он говорил о будущем, а она шла, рассматривая пыльный след от ноги баронессы.

Раз дело было решено, закончить его желали поскорее; условились, что венчание состоится через полтора месяца, пятнадцатого августа, и что молодые немедленно отправятся в свадебное путешествие. Когда Жанну спросили, куда она хочет поехать, она избрала Корсику, где можно быть в большем уединении, нежели в городах Италии.

Они ожидали дня, назначенного для свадьбы, не испытывая особого нетерпения, и чувствовали себя овечьими, убаюканными восхитительной нежностью,

наслаждаясь тонким очарованием невинных ласк, рукопожатий и страстных взглядов, столь долгих, что их души, казалось, сливались в одну; неясное вожеление томило их еще смутно.

Было решено никого не приглашать на свадьбу, за исключением сестры баронессы, тети Лизон, жившей пансионеркой в версальском монастыре.

После смерти отца баронесса хотела оставить сестру у себя, но старая дева, преследуемая мыслью, что она всех стесняет, что она никому не нужна и может только надоедать, удалилась в один из монастырских приютов, сдающих помещения людям, жизнь которых печальна и одинока.

Время от времени она проводила месяц или два в семье.

То была маленькая женщина, которая почти не разговаривала, всегда стушевывалась, появлялась, только когда садились за стол, а затем тотчас же уходила в свою комнату, где и оставалась все время взаперти.

Она казалась добродушной старушкой, хотя ей было всего только сорок два года; глаза у нее были добрые и печальные; в семье с ней совершенно не считались. Ребенком ее почти не ласкали, так как она не отличалась ни резвостью, ни хорошеньким личиком и смиренно, кротко сидела в углу. С тех пор она была навсегда обречена. Никто не заинтересовался ею, когда она стала девушкой.

Она была чем-то вроде тени или хорошо знакомого предмета, живой мебелью, которую привыкли видеть ежедневно, но о которой никто никогда не беспокоился.

Сестра, по привычке, усвоенной еще в родительском доме, смотрела на нее как на неудачное и совершенно незначительное существо. С ней обращались фамильярно и бесцеремонно, скрывая под этим презрительное добродушие. Ее звали Лизой, но это молодое и кокетливое имя, казалось, стесняло ее. Когда увидели, что она не выходит замуж и, без сомнения, не выйдет, Лизу превратили в Лизон. Со времени рождения Жанны она стала «тетей Лизон», скромной родственницей, чистенькой, страшно застенчивой даже в обращении с сестрой и зятем, которые, однако, ее любили, но какую-то неопределенной любовью, включавшей в себя безразличную нежность, бессознательное сострадание и

инстинктивное расположение.

Иной раз, когда баронесса рассказывала об отдаленных событиях своей молодости, она говорила, чтобы отметить дату:

- Это было в год безрассудного поступка Лизон.

Больше об этом ничего не говорилось, и этот «безрассудный поступок» так и оставался в каком-то тумане.

Однажды вечером Лиза, которой было тогда двадцать лет, неизвестно почему бросилась в воду. Ничто в ее жизни и в поведении не давало повода предвидеть эту безумную выходку. Ее вытащили в полумертвом состоянии, а родные, негодуя воздымавшие руки, вместо того чтобы доискаться таинственной причины этого обстоятельства, удовольствовались разговорами о «безрассудном поступке» так же точно, как говорили о несчастном случае с лошадью Коко, незадолго перед тем сломавшей себе ногу в колее, вследствие чего пришлось ее прикончить.

С тех пор Лизу, а потом Лизон, стали считать как бы слабоумной. Добродушное пренебрежение, которое она внушала к себе близким, постепенно просачивалось в сердца всех ее окружавших. Даже маленькая Жанна, с присущей детям догадливостью, совсем не интересовалась ею, никогда не забиралась к ней на кровать приласкаться, никогда не прокрадывалась в ее комнату. Горничная Розали, убиравшая ее комнату, казалось, одна только и знала, где эта комната находится.

Когда тетя Лизон входила в столовую к завтраку, «малютка» по привычке подставляла ей лоб, и этим все ограничивалось.

Если кто-нибудь желал поговорить с нею, то за ней посылали лакея; когда же ее не было, ею совсем не занимались, о ней вовсе не думали, и никогда никому не пришло бы в голову побеспокоиться, задать вопрос: «Как же это я сегодня с самого утра не видел Лизон?»

Она как бы совсем не занимала места: то было одно из тех существ, которые остаются чужими даже для своих близких, как бы неведомыми им и чья смерть не оставляет в доме ни трещин, ни пустоты, одно из существ, которые не умеют

занять места ни в жизни, ни в привычках, ни в любви людей, живущих рядом с ними.

Когда говорили «тетя Лизон», эти два слова не пробуждали никакой привязанности ни в чьей душе. Это было все равно что упомянуть о кофейнике или сахарнице.

Она постоянно ходила торопливыми и неслышными шажками, никогда не шумела, никогда ни за что не задевала, и, казалось, благодаря ее влиянию предметы приобретали свойство быть беззвучными. Ее руки были словно из ваты, так легко и осторожно она обращалась со всем, к чему притрагивалась.

Она приехала в половине июля, страшно взбудораженная мыслью об этой свадьбе. Она привезла кучу подарков, которые почти не обратили на себя внимания, потому что были получены от нее.

На следующий день по ее приезде никто уже не замечал, что она тут.

Она же была охвачена необычайным душевным волнением, и глаза ее не отрывались от жениха и невесты. Она с особой энергией и лихорадочной деловитостью занялась приданым, работая, как простая швея, в комнате, куда никто к ней не заглядывал.

Она ежеминутно подносила баронессе платки, самолично подрубленные ею, или салфетки, на которых она вышивала вензеля, и спрашивала:

– Хорошо ли так, Аделаида?

И мамочка, небрежно взглянув, отвечала:

– Только не надрывайся слишком, бедняжка Лизон.

Как-то вечером, в конце месяца, после тягостного знойного дня вошла луна; была одна из тех светлых и теплых ночей, которые волнуют, умиляют, заставляют восторгаться и словно будят всю затаенную поэзию души. Легкое дыхание полей проникало в тихую гостиную.

Баронесса и ее муж вяло играли партию в карты в освещенном кругу, который отбрасывал на стол абажур лампы, тетя Лизон вязала, сидя возле них, а молодые люди, опершись о раму раскрытого окна, смотрели в сад, залитый лунным светом.

От липы и платана ложились тени на широкий луг, белесый и блестящий, который тянулся до самой рощи, казавшейся совсем черной.

Неотразимо замороженная нежной прелестью этой ночи, туманного освещения деревьев и зелени, Жанна обернулась к родителям:

- Папочка, мы пойдем погуляем по траве перед замком.

Барон ответил, не отрывая взгляда от карт:

- Ступайте, дети!

И продолжал игру.

Они вышли и стали медленно ходить по большой белой лужайке до леска в глубине.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

Maynial E. La vie et l'oeuvre de Guy de Maupassant. Paris, 1906. – Рус. пер.: Мэниаль Э. Мопассан: Его жизнь и творчество / Пер. с фр. Н. П. Кашина. – М., 1910.

2

Последователи Золя (фр.).

3

“Revue de deux Mondes” – «Обозрение Старого и Нового Света».

4

От фр. autoscopie externe.

Купить: https://tellnovel.com/ru/de-mopassan_gi/zhizn-novelly

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)